ПАМЯТИ
ИВАНА СЕРГѢЕВИЧА ШМЕЛЕВА



ПАМЯТИ ИВАНА СЕРГѢЕВИЧА ШМЕЛЕВА

ПАМЯТИ
ИВАНА СЕРГѢЕВИЧА ШМЕЛЕВА

Сборник под редакцiей

ВЛ. А. МАЕВСКАГО

1956



Druck: Dr. Peter Belej, München 13, Schleißheimer Str. 71, Germany



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Не всѣ страницы исторіи русской эмиграціи будут исписаны золотыми буквами. К сожалѣнию, на этих страницах будут и темныя пятна. А между ними, может быть, самым большим: непримиримость и взаимное отталкиваніе по важнѣйшим вопросам, которые являются основными для каждой вообще эмиграціи. Извѣстно, что русскіе люди в Зарубежьи, — старѣйшая, старая, новая и новѣйшая эмиграціи, — раздѣлились на многочисленныя политическія, національныя и даже сословныя группировки, которыя между собою люто враждуют, забывая о борьбѣ с общим врагом. Мало того: русскіе православные люди в эмиграціи раздѣлились и в церковном отношеніи, враждуя еще больше и затрагивая вопросы, в которых только нѣкоторые с большим трудом разбираются: Эта церковная вражда, раздѣляющая русских людей, окончательно ослабила Зарубежье. И поэтому никакая иниціатива не может быть осуществлена совмѣстно всѣми его силами и возможностями.

Приступая к какому-либо начинанію, всегда приходится имѣть в виду это пагубное раздѣленіе. И в данном случаѣ, когда мы рѣшили осуществить изданіе Сборника в память Ив. С. Шмелева, выдающагося русскаго національнаго писателя, то, — соблюдая глубокое уваженіе к нашей высшей церковной власти, — мы обратились не к одному, а к трем главам церковных юрисдикцій. Обратились с почтительной просьбой возглавить этот Сборник... От одного архипастыря отвѣта мы вообще не получили; другой обѣщал дать небольшую статью, но за множеством дѣл и забот, повидимому, позабыл о своем обѣщаніи, а мы не сочли возможным напоминать и настаивать; наконец, третій отвѣтил любезным письмом, в котором между прочим писал:

> «Привѣтствую Ваше намѣреніе издать Сборник для увѣковѣченія памяти И. С. Шмелева. Надо спѣшить с изданіем этого памятника почившему бытописателю старой Православной Россіи и особенно ея сердца Москвы, которую он изобразил с художеством и искусством, свойственным только его перу... Что касается меня, то я, к сожалѣнію, совершенно лишен возможности принять участія в Сборникѣ за полным

отсутствіем у меня времени для подобной литературной работы. Кажется, у Вас составилось преувеличенное мнѣніе о моей близости к покойному писателю. Я никогда не встрѣчался с ним лично. Наши отношенія ограничивались перепиской по дѣловым поводам — лишь изрѣдка они сопровождались обмѣном мнѣній по вопросам, связанным с его произведеніями или лучше сказать с воспоминаніями, какія они будили у меня, долго пробывшаго в Москвѣ и хорошо изучившаго ея общій и церковный быт.

Всецѣло сочувствуя Вашему доброму и своевременному начинанію, желаю ему успѣшнаго осуществленія. Божіе благословеніе да уплодоносит Ваш благородный литературный труд.»

Эти строки нас изумили. Невольно онѣ вызовут большое изумленіе и у большинства читателей. Но мы не считаем себя вправѣ их комментировать... А читателям и без этого теперь ясно почему, не взирая на старанія наши, Сборник в память самого выдающегося современнаго русскаго писателя, наиболѣе близкаго в своем творчествѣ к церкви, — все же выходит без единаго слова архипастырскаго вдохновенія.

Обращались мы к Ив. А. Бунину и он отозвался согласіем принять посильное участіе в проектируемом Сборникѣ, но смерть лишила его возможности осуществить обѣщаніе. А другой из старых писателей на наше предложеніе отозвался любезным письмом, но от участія отказался: Этот свой отказ он объяснил в слѣдующих словах:

«К покойному Ивану Сергѣевичу я тоже относился с большим уваженіем и симпатіей, но все же, к сожалѣнію, не смогу принять участія в Сборникѣ статьею: личныя воспоминанія не достаточно интересны (в данном случаѣ), — литературная статья не моя область. Кромѣ того, я сейчас вообще ничего не пишу, — чувствую себя неважно и кажется главной задачей моей будет теперь укрѣпить нервы, поднять внутреннія силы. Тут уже не до литературы.»

Издательство

Владимір Зеелер

ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ ШМЕЛЕВА

Послѣдній год жизни Ивана Сергѣевича был тяжелым: болѣзнь не оставляла его, почти все время пришлось лежать. В ноябрѣ было совсѣм плохо, — он умирал голодной смертью. Срочная операція; жизнь спасли, начал поправляться. Новые планы, новыя мысли, новое желаніе работать... Воскрес Шмелев: почувствовал в себѣ тѣ жизненныя силы, что возбудили былую энергію, вливали новый приток желаній «дышать и работать». Сколько новых счастливых минут. Встал. Ходить начал, даже выходить... Жизнь вернулась.

Возрадовался теплу, солнечному лучу, ласковому слову друзей. «Работать. Сколько нужно еще сдѣлать! Всѣ послѣдніе годы, давно уже лелѣял мечту — уйти в монастырскую тишину и там, вдали от суеты мірской, в покоѣ и отдохновеніи, — вести неспѣша уже назрѣвавшую нить своей работы. Мечтал о монастырской жизни в Америкѣ, но достичь этого не удалось ему. Кому-то мѣшала его близость: вѣдь не всѣ его знали и цѣнили. Были и недруги... Остался здѣсь, и здѣсь же возникла надежда найти пріют в тихой обители, в департаментѣ Іон, в маленьком городкѣ, в домѣ среди сада, далеко от шумов городских. Звали, обѣщали жизнь тихую, заботу и уход.

В половинѣ іюня рѣшено ѣхать. Случайно у знакомаго русскаго шоффера машина потребовала поправки. Поѣздка задержалась и назначена на 24-ое іюня. А 23-го іюня, в пятницу, мой обычный день у Ивана Сергѣевича. Долго и дружески бесѣдовали не только о «дѣлах», — о правах литературного наслѣдства, о правах литературных вообще, — но и о планах будущей работы в маленьком монастырѣ, гдѣ сосредоточились всѣ надежды на возстановленіе сил. Мечта продолжать «Пути небесные». Для завершенія нужна третья часть: «Вот там-то Господь и поможет мнѣ закончить эту работу и тогда успокоиться».

К 11-ти часам в субботу собрались его проводить ближайшіе друзья. Вещи уложены, багаж связан. Русскій обычай: всѣ присѣли на минуту — и «с Богом»! Послѣднее прощаніе, пожеланія, теплые слова. Он в автомобилѣ; еще при-

вѣт, еще раз обнялись, — и автомобиль двинулся. У всѣх провожавших полная увѣренность, что, наконец, он обрѣтет спокойную и хорошую жизнь. Здоровье и силы прибудут, а мыслей непочатый край. Много даст он еще радостнаго и добраго своему русскому читателю. Спокойно проводили, спокойно разошлись. Конечно, будем писать; конечно, будем благодарить Бога, что, наконец, Шмелев будет опять здоров.

Русскій шоффер не гнал: вез больного. Вел машину осторожно. Шли через лѣса Фонтенебло. Погода, как на заказ — и солнечно, и прохладно. В лѣсу выбрали полянку. Устроили привал. Как было весело и радостно. Как было упоительно благостно вдыхать свѣжій воздух, радоваться глубокому синему небу, травѣ, на которой он сидѣл и называл всѣ полевые цвѣты своими названіями. Иван Сергѣевич был весел, оживлен и полон той душевной радости, которую дает благодать Господня.

Он поѣл. Собрались. Подушки по мѣстам — и в дальнѣйшій путь. В 5 часов на мѣстѣ, в Бюсси. Встрѣтили добрые люди с лаской и привѣтом. Немного устал, но поднялся в отведенную комнату. И как же хорошо было глядѣть из окна на чудесныя окрестности, на далекій лѣс, на близкій сад; как было все вокруг улыбчато-привѣтливо! А тут колокол, звон — призыв к вечернѣ. Собрался идти. Уговорили не переутомляться. Началась раскладка привезенных вещей — книг, а потом оживленная бесѣда с сестрами — и о болѣзни, и о литературных дѣлах, о писаніи.

Иван Сергѣевич загорается, оживленіе растет, глаза совсѣм молодые. Его слушают, как завороженные. Но... пора подумать и о тѣлѣ бренном Мать Феодосія принесла ужин и, между прочим, «малину из нашего сада». Иван Сергѣевич все хвалил, всему радовался, вдыхал аромат каждой ягодки. «Я сидѣла — пишет мать Феодосія, — за столом против него и мы обсуждали план устройства его жизни у нас, в обители. Иван Сергѣевич был полон самых радужных надежд; мечтал о том, как будет работать; хотѣл возможно скорѣее поговѣть».

В 9 часов рѣшил идти спать. От всякой помощи отказался. Но все же М. Т. Волошина уговорила позволить развязать ему ботинки и замѣнить их ночными туфлями.

Спустились вниз. А через десять минут послышался наверху стук и как будто стон.

«Мы с Волошиной быстро поднялись и нашли Ивана Сергѣевича, лежащим на полу между столом и кроватью. Мы подняли его и уложили в постель. Он был в полном сознаніи и сказал: «Сдавило обручем сердце, не мог дышать. Упал. . .» Попросил вспрыснуть ему камфару. Он торопил; я готовила шприц. Послали за Н. В. Оболенской: она сдѣлала еще два вспрыскиванія камфары и пыталась сдѣлать вспрыскиваніе в вену, но Иван Сергѣевич уже кончался. В рукѣ пульса уже не было; послѣдніе удары сердца я улавливала подлѣ уха. Но и они вскорѣ замерли.

В 9 часов 30 минут раб Божій Іоанн преставился ко Господу. . .».

Наканунѣ, 23-го, я во время бесѣды с Иваном Сергѣевичем как-то сказал: «а вѣдь опять вспрыскиванія; опять лѣкарства на цѣлых сорок дней. Могу себѣ представить, как вам эти лѣкарства надоѣли». — «А не лучше ли было бы, — услышал я в отвѣт, — чтобы все было сразу кончено?!.» Меня этот отвѣт удивил, и я сказал: «Как могла придти такая мысль человѣку, вѣрующему так, как вы вѣрите?» Иван Сергѣевич виновато улыбнулся и сказал мнѣ: «Друг мой, вы правы, один Господь знает, когда настанет для каждаго его час».

И я себѣ представляю совершенно ясно мистику его смерти. Шмелев был глубоко вѣрующим человѣком; Шмелев точно знал и вѣрил, что все в его жизни было от Бога и Богом создавалось. И вот этот послѣдній день, который дал ему Господь, Он дал ему его для той блаженной кончины, которую этот замѣчательный для нас человѣк заслужил и у Господа: весь день он ощущал всю красоту Божьяго міра; он был напоен ею; он впитывал в себя и этот чудесный воздух; он согрѣвался солнцем, любовался травкой и полевым цвѣтком; он слушал шум лѣса, он видѣл птиц в лѣсу. Он пришел к незнакомым людям, которые встрѣтили его ласковым привѣтом. Весь день он чувствовал близость друзей; он знал их теплое, душевное к нему отношеніе, — и душа его наполнилась радостью жизни. Мать Феодосія говорит: «Он много раз крестился», он благодарил Господа Бога за все то чудесное, что было вокруг него и в нем самом. И когда он был полон этой благодарности к Богу, тогда Послѣдній закрыл ему глаза. Послал ему вѣчный покой.

Это была блаженная, непостыдная и мирная кончина нашего дорогого, незабвеннаго друга, русскаго писателя Ивана Сергѣевича Шмелева... Как нам будет его недоставать!

ПОХОРОНЫ

В понедѣльник 26 іюня 1950 г. прах Шмелева был доставлен из Бюсси-ан-От в Париж, в Александро-Невскій храм на рю Дарю. Встрѣчали его близкіе друзья и настоятель храма о. Николай Сахаров с причтом. У гроба была отслужена первая панихида. На другой день вечером была отслужена панихида митрополитом Владиміром, а 28-го, в 10 часов утра совершена была заупокойная литургія и отпѣваніе. Служил митр. Владимір в сослуженіи с четырьмя священниками, в числѣ которых был духовник покойнаго о. Мефодій. Пѣл полный хор под управленіем Успенскаго и при участіи И. Денисова, который проникновенно исполнил Заповѣди Блаженства и Символ Вѣры.

Из храма, в котором собралось множество друзей и почитателей покойнаго, гроб был вынесен на руках президіумом Союза русских писателей, членами редакціи «Русская Мысль» и ближайшими друзьями. На кладбищѣ в С.- Женевьев де Буа слово над гробом было произнесено: проф. А. В. Карташевым, проф. Ф. Е. Волошиным, предсѣдателем Союза русских писателей Б. К. Зайцевым и от «Русской Мысли» принес послѣднее «прости» В. Ф. Зеелер. На могилу было возложено много цвѣтов и вѣнков: от Союза писателей, от Зарубежнаго Союза русских инвалидов, из Женевы — от ген. Ознобишина, от друзей из Голландіи.

Профессор А. В. Карташев в своем слове сказал:

«Шмелев — большой русскій писатель. Имя его войдет в исторію великой, міровой русской литературы. О нем уже пишутся томы. Но это дѣло литературнаго цеха. А я, как представитель другой спеціальности, чувствую особый долг в эту минуту таинства смерти, пред лицом вѣчности сказать не о твореніях Шмелева, а о самом творцѣ: новопреставленном рабѣ Божіем Іоаннѣ, о его религіозном пути, о его собственном «Пути небесном»... Его душа была носительни-

цей богатѣйшаго наслѣдства: тысячелѣтней сокровищницы простонароднаго русскаго православія. Но на этот первобытный глубокій фонд духовной культуры ранняго дѣтства налегла инородная нагрузка нашей интеллигентской, европейской, внѣ-религіозной, а иногда и анти-религіозной культуры. Гимназія, университет, журналистика, общественность — все дышало раціонализмом и позитивизмом. Давило на сознаніе авторитарно, деспотически. Конечно, как всѣ мы, замоскворѣцкій русачек Ваня не в силах был противопоставить этой духовной армадѣ что-то равное по силѣ оружія. И он шел обычной дорогой «просвѣщеннаго« работника. Нужна была наша зловѣщая, антихристіанская революція, нужна была печаль изгнанія, чтобы взор художника оторвался от подражательнаго для него стиля внѣшней культуры и заглянул в оригинальную, ему свойственную глубь души. И оттуда засвѣтились ему заброшенныя, но не забытыя, сокровища и видѣнія родной свято-русской души. А «ангел мирный, вѣрный наставник, хранитель души и тѣла» его — «здѣ лежащая» Ольга Александровна настойчиво тянула его прочь с базара литературной суеты именно сюда, в православіе, в церковь, и — перетянула! .. Так побѣжден был ветхій интеллигентскій Адам и народился новый. Родился новый, эмигрантскій Шмелев и — думаем мы, — в этом обликѣ уже увѣковѣченный.

Много было и осталось у него раціональных тупиков и сомнѣній. Но его спас не стерильный разум, а полнокровная любовь к сокрытому наслѣдію его родовой души. Что есть вѣра? Вѣра вообще есть любовь. Сам «Бог есть Любовь»: так опредѣлил Его апостол Іоанн... Как можно не вѣровать в Бога, если душа любит Его? любит Саму Любовь. Христос кротко сказал: «если вы любите Меня, то слово Мое соблюдете». И тоже ласково сказал: «а это вы творите в Мое воспоминаніе». У кого же сердце повернется не послушаться, не творить, не соблюсти завѣт Его? Невѣрующій Ренан всю жизнь влюблен в Него. Пробовал Ницше не любить Его — и сошел с ума. Пробовал наш доморощенный Розанов язвить Его — кончал каждый раз безоглядной сдачей, как сдался и древній «богоборец» Іов, «раскаявшійся в прахѣ и пеплѣ» (52, 6). Иван Сергѣевич был настолько прост, что даже не заинтересовался такими сложными видами христоборчества. Отрава его сомнѣній была

элементарной, старомодно-интеллигентской, позитивистической. Как знахаря, просил он меня попользовать его от этой тоскливой ломоты сомнѣній разнаго рода примочками и припарками, т. е. апологетической литературой. Без вдохновенія я приносил ему кое-что, наперед предупреждая, что это в сущности дѣтскія лѣкарства от дѣтских же немощей разума. Всѣ эти сомнѣнія сгорают без остатка только в полнотѣ жизни церковной.

И вот безсильно мечтал, порывался как-нибудь пространственно приблизиться к Церкви, втянуться в годовой богослужебный круг церковный; пожить сладостной жизнью культа, жизнью небесной. Порывался ѣхать в Америку, поселиться там возлѣ монастыря, чтобы частить в церковь. Мечтал и здѣсь временно пожить около Сергіевскаго подворья, чтобы досыта напитаться ежедневными церковными службами. Он был с дѣтства грамотнѣе большинства в церковном уставѣ. Имѣл в своей библіотекѣ Великій Сборник «карпатскаго изданія» и свободно разбирался в нем, не смѣшивая ирмосов с прокимнами, канонов с кафизмами. Но... разорвать сѣрую паутину нашего возмутительно антицерковнаго быта — безвкуснаго, прѣснаго — не имѣл сил. Перед операціей, укрѣпившись свв. Тайнами из рук о. Мефодія, ликовал духовно и признавал, что надо бы чаще так ликовать.

Религіозный путь новопреставленнаго раба Божія Іоанна весьма знаменателен, символичен. Это прообраз духовнаго выздоровленія и всего русскаго народа. Как Иван Сергѣевич, захваченный властной атмосферой свѣтскаго гуманизма, в глубинах своего подсознанія нашел в себѣ праотеческій материк — православную русскую душу, — таково же будет и грядущее воскресеніе сбитаго с толку русскаго народа. Тогда и творенія И. С. Шмелева послужат ему в том опытном гидом.

Сергѣй Яблоновскій

ТЕБѢ НА ГРОБ

Ушел... Удивительно, как не произошло это много раньше. Тѣла у него не было уже давно. Чѣм он жил? Попробуйте сказать — неизвѣстно. Нѣт, известно, ясно до послѣдней степени: жил духом, душою.

Не только в послѣдній год или в послѣдніе годы; так было всегда. Знаю его в Москвѣ, лѣт сорок тому назад. И тогда худой, как щепка, и тогда горящій бѣлым огнем. Не говорил, а выбрасывал из себя клокощущее в его всегда конвульсивной душѣ.

Особенный: в этом была его сущность. Ни на кого не похожій, и не старавшійся походить; не уступающій ни іоты из того, чѣм переполнен, и изо всѣх русских — перерусскій.

— Никогда не поѣду за-границу и не хочу видѣть ее. Что мнѣ в ней дѣлать, что она может мнѣ дать? — говорил нам, только вернувшимся послѣ лѣтняго отдыха. — Кто из Венеціи, кто из Рима, кто из нѣмецких, швейцарских, австрійских курортов.

Надо-ли говорить, что всѣ любили Россію? Но кромѣ нея мы вобрали в себя достаточно того, что за ея предѣлами; он вобрать не мог: мѣста для этого не хватало в его душѣ, мозгу, нервах. Даже и для русской «интеллигентности», несмотря на московскій университет. Так полно была набита, переполнена душа тѣм куском Россіи, в котором он родился, вырос, возлюбил **свято.**

Именно свято, напишу, отдѣляя каждую букву, как любил это дѣлать он, которому и в печати необходимо было подчеркивать, раздѣлять, требовать от слова, чтобы оно не просто говорило, а вопіяло, наливалось его переполненностью до отказа.

И мір-то, который он выбрал, среди котораго вырос, не ахти-какой: отец — крупный подрядчик, кругом его сподручные... Сдѣлки, торги, отсутствіе образованія, развитія, — казалось бы «темное царство». И сколько, по правдивому, показали этой темноты наши писатели, не замѣтив в нем почти ничего свѣтлаго.

А его **судьба** благословила: отца дала добраго и любящаго; его слуг-помощников тоже добрых и любящих; и облекающую это все примитивную, но крѣпкую религію. И душу ему послала такую, которая была широко раскрыта только для добра. Великаго Толстого упрекали, что в своих твореніях он не коснулся ужасов крѣпостного права. А он отвѣчал, что не видѣл его вокруг себя и не мог писать о том, чего не видѣл. И это была великая правда. Не видѣл и он, Шмелев, а тѣх, кого видѣл, любил до безпредѣльности.

Двѣ дороги вели его: одна в радостную теплоту и любовь окружающаго, а другая — в необъятную, фантастическую широту русскаго народа, русской природы и русской вѣры. Вѣра, со всѣми предразсудками, суевѣріями, со всѣми Параскевами-Пятницами, наговорами и заговорами, но ведущая в такую высоту, какой никогда не знать нам «цивилизованным». Внас она родит сомнѣнія, колебанія, разлад, а им создает царство с городом, ушедшим от людской лжи и скверны под землю, свѣтлое озеро, и ведет путями небесными, прямо в рай, болѣе несомнѣнный, чѣм реальная жизнь.

Маленькій прозаическій мір торговых дѣл безо всякаго рубежа, вплотную, соединяется с этой вѣрой, с народною гущей, в крестные ходы, церковные праздники, в народныя массы, бредущія пѣшком через всю Россію до святого Кіева с языком вмѣсто географіи, за чудотворной иконой или к чудотворной иконѣ, по обѣту. Смиренное, величественное царство народнаго духа, три толстовских старца: «Трое нас, трое вас, спасите нас». В этом царствѣ люди могут итти по морю, догоняя пароход с архіереем, у котораго они так и не смогли научиться Христовой молитвѣ.

Это царство, этот храм — для многих призрачен; но исчезновеніе его — крушеніе великаго народа, звѣриная злоба, ползанье по образу и подобію червяка.

У нас два Ивана Сергѣевича. Один — «превзошедший всѣ науки», доктор философии, все знающій, все понимающій и ничему не вѣрящій; невольник своего раздвоенія, бѣдный и одинокій, перепуганный, обступающими его со всѣх сторон ямами, могилами, видящій только «черепа», в которые обратились всѣ его близкіе и все близкое. Другой — повѣрившій во все, во что вѣрит и русскій народ. И. С. Шмелев с огромной силой передал свою огромную вѣру. Перваго, дисгармоничнаго в своей внѣшней гармоніи, про-

свѣщенный читатель уже придирчиво анализирует, снисходительно похваливая и извиняя; второго огромная масса берет — и даст Бог будет брать — не анализируя, а цивилизованные скептики, сами не вѣря, будут, читая, умиляться, потому что за этим — весь великій дух великаго народа.

Можно не исповѣдывать его вѣры, можно не раздѣлять его нѣкоторых убѣжденій, но, — горящіе в пол-огня, слушающіе самих себя в четверть слуха, — мы с восторженным смущеніем стоим перед гробом этого сжегшаго себя человѣка.

П. Ковалевскій.

ИВАН СЕРГѢЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Иван Сергѣевич Шмелев принадлежал к старшему поколѣнію современных русских писателей, начавших писать еще в концѣ 19-го вѣка и составивших себѣ литературную славу до революціи и эмиграціи. Родился он 21 сентября 1873 года в Москвѣ, в крестьянской семьѣ, занимавшейся уже в теченіе трех поколѣній торговлей деревянной посудой. «Мы из торговых крестьян, — говорил он мнѣ, — коренные москвичи старой вѣры.»

И отец, и мать И. С. Шмелева были благочестивыми людьми, строго соблюдавшими всѣ обычаи старины, и ребенок был окружен с первых лѣт религіозно-національным бытом.

Отец Ивана Сергѣевича разбогатѣл, расширил свою торговлю, стал подрядчиком по постройкам; владѣл под конец жизни баржами на Москвѣ-рѣкѣ, садками и банями. Он же традиціонно в теченіе десятилѣтій строил будки на Вербном базарѣ. Дом Шмелевых был всегда полон людьми, пріѣзжавшими со всѣх концов Россіи. Мать Ивана Сергѣевича была из московской купеческой семьи. Она научила мальчика грамотѣ. С ней он читал Гоголя, Тургенева, Крылова, Пушкина, но и Майн-Рида и Жюль Верна. Особенно любил он Мельникова-Печерскаго. «К литературѣ я пристрастился в пятом классѣ гимназіи; писал стихи и пьесы, а в 1895 году был напечатан в «Русском Обозрѣнии» мой первый разсказ: «У мельницы».

В том же году Иван Сергѣевич женится и рѣшает посѣтить во время своего свадебнаго путешествія Валаам, впечатлѣнія от котораго он пробует напечатать, но они почему-то не нравятся обер-прокурору Побѣдоносцеву.

Иван Сергѣевич неожиданно рѣшает бросить литературу и поступает на юридическій факультет Московскаго университета; потом, послѣ краткой службы по военно юридической части, получает должность налогового инспектора Владимірской губерніи (1901 г.). Он увлечен новым дѣлом, пишет серьезное изслѣдованіе о торговлѣ и промышленности Владимірской губерніи и очень много путешествует. Но

постоянная связь с русской жизнью возвращает его на его прежній путь. Послѣ 10 лѣт молчанія он вновь начинает писать. Печатает разсказы в «Дѣтском Чтеніи» и сотрудничает в журналѣ «Русская Мысль». Всѣ его очерки и разсказы полны человѣколюбіем и любовью к простым людям, к животным и к природѣ.

В 1907 году И. С. Шмелев вышел в отставку и посвятил себя литературѣ. Из разсказов перваго періода надо отмѣтить: «Иван Кузьмич», «Вахмистр», «Жулик», «Гражданин Уклейкин», «Под небом», «Под горами»: Но слава приходит с романом «Человѣк из ресторана», переведенным на нѣсколько языков.

С 1912 года Шмелев становится постоянным сотрудником оборников «Знаніе»: До революціи выходит нѣсколько сборников его разсказов, из которых отмѣтим: «Пугливая тишина», «Поденка», «Стѣна», «Ненастье», «В деревнѣ», «Волчій перекат», «Карусель», «В усадьбѣ», «Лес», «Друзья». А в сборникѣ «Суровые дни» (1915 г.) Иван Сергѣевич посвящает нѣсколько разсказов войнѣ и вліянію ея на русскаго человѣка. Всю войну он проводит у себя в деревнѣ в Калужской губерніи. В революціонные годы теряет все. Сын его убит. Он бѣжит в Крым, гдѣ пишет свое замѣчательное «Солнце мертвых». —

В 1922 году он возвращается в Москву и в том же году в ноябрѣ покидает Россію навсегда.

За этот період он печатает «Забавное приключеніе» и «Неупиваемую Чашу». В эмиграціи И. С. Шмелев пишет много. Его произведенія не только издаются иногда по нѣсколько раз по-русски, но переводятся на иностранные языки. Отмѣтим: «Степное Чудо», «Про одну старуху», «Свѣт разума», «Въѣзд в Париж», «Исторія любовная», «Родное», «Лѣто Господне», «Богомолье», «Няня из Москвы», «Мэри», «Как мы летали», «Рождество в Москве» и, в особенности, замѣчательный роман в двух частях «Пути небесные».

Как писатель-бытовик И. С. Шмелев как будто не должен был имѣть вліяніе внѣ Россіи, на столько своеобразен, живописен и сочен его непередаваемый в переводѣ язык. Он сам говорил мнѣ: «Главное мое качество — язык. Я учился сызмальства народным выраженіям и мое ухо очень чутко».

Несмотря на это, надо отмѣтить несомнѣнное вліяніе Шмелева в Италіи, где особенно оцѣнили «Неупиваемую

Чашу», и в Германіи, где профессор Михаил Ашенбреннер посвятил творчеству Шмелева докторскую диссертацию, вышедшую в 1937 году в Кенигсбергѣ: «Иван Шмелев. Жизнь и творчество большого русскаго писателя».

И. С. Шмелев был в перепискѣ с Томасом Манном, Сельмой Лагерлеф и Редіадром Киплингом, которые его очень цѣнили. В Лундском университетѣ ему был посвящен даже курс лекцій. Когда вышел «Человѣк из ресторана», Шмелев получил восторженное письмо от Кнута Гамсуна. Во Франціи из его произведеній были извѣстны, кромѣ «Человѣка из ресторана», «Солнце Мертвых» и «Пути небесные».

Н. В. Борзов

ПАМЯТИ ДРУГА

Иван Сергѣевич Шмелев писал с таким талантом, с таким пафосом, с такой любовью о русской душѣ, о ея страданіях, о ея нѣжности, о ея чуткости к правдѣ, о ея стремленіях к Божьему закону, о ея ласковости, о ея благодарности за добро, о ея свѣтлом обликѣ, о ея погрѣшеніях, о ея слабостях, о ея окаяніи и о глубинѣ и покаяніи.

Русскій до корня волос, Иван Сергѣевич изображает русскаго человѣка с его душою, с его сердцем, страданіями, с его страшной бѣдой. Он писал только о Россіи, о преступленіи против нея, о покаяніи русскаго интеллигента и оставил апофеоз русской души. Можем ли мы когда-нибудь забыть такого писателя и философски спокойно отнестись к факту его смерти?

Дѣйствительно, он не спрятал своего таланта под спуд и не продавал его, и автора, писавшаго исключительно о Россіи, переводят на десятки иностранных языков и просят повторить его дивныя творенія.

Всѣ мы осуждены терпѣливо нести свой крест. Но когда касаются грязными руками нашего святая святых и хотят загрязнить лучшіе помыслы — мы горячо возмущаемся. И сколько таких примѣров клеветы, самой злостной и грязной клеветы дает нам наше несчастное время... Клеветы не избѣжал и Иван Сергѣевич: его называли и фашистом и сотрудником нѣмцев. Но он работал не с нѣмцами, а против них; фашистом никогда не был. Обвиняли Ивана Сергѣевича за его участіе в «Парижском Вѣстникѣ», забывая, что в то время для сотен русских людей, пригнанных нѣмцами из Россіи, не было другой русской печати: Иван Сергѣевич стал служить не нѣмцам, а сотням тысяч русских людей и говорить им правду о Россіи и нѣмцах. Что мы там в этом «Парижском Вѣстникѣ» читаем написанного И. С. Шмелевым? Мы читаем о Россіи, о ея величіи, о ея матеріальном и душевном, и духовном богатствѣ. «Нѣмцы, — пишет Шмелев, — и не одни нѣмцы искажали лик Россіи. Писали, что Россія — историческое недораз-

умѣніе; что у нея нѣт ни исторіи, ни культуры; одна великая степь — в ней дикари... Нѣмцы показывали этих дикарей, возя их по Берлину; возя по городу плѣнных и пригнанных силой, возя их стойком на каміонах, одѣв в отрепья... Смотрите — мол этих дикарей. Мы — нѣмцы несем культуру. Все было... было и много другого, куда страшнѣе... Оставить все это без отвѣта? И я писал, повторяет Иван Сергѣевич Шмелев, — и не мог оставить эту ложь без опроверженія. И я писал подлинную Россію».

Извѣстно, что Ивану Сергѣевичу предлагали дать что-нибудь не о прошлом Россіи, а что-нибудь «поактуальнѣе». Но он отвѣтил: «Я не пишу для пропаганды». Ему предлагали возглавить литературный отдѣл при управленіи, но Иван Сергѣевич отклонил и это предложеніе. Ему предложили быть почетным предсѣдателем, но он отвѣтил: «Я не ищу почета...». Свой долг, русскаго писателя, Иван Сергѣевич понимал, как долг защиты чести Родины: оберечь ея чистое имя от издѣвательства. И автор «Имянин» и «Почему так случилось», не щадя себя, так именно осуществлял свой долг русскаго писателя. Мы помним и другіе нападки на покойнаго, как автора, осмѣлившагося указать, что главным стимулом революціи было не созиданіе, а разрушеніе. «Самая суть революціи есть надругательство над Россіей» («Солнце мертвых»). Но именно это произведение Шмелева и переведено на 12 иностранных языков и является одним из популярнѣйших его произведеній.

Вмѣстѣ с автором мы пережили разстрѣл его сына и запрещеніе взять тѣло для христіанских похорон... и своеобразную радость, когда чужіе люди дали отцу возможность отыскать тѣло единственнаго сына и похоронить его, как подобает христіанину похоронить жертву «созидательнаго» начала революціи.

В эпоху упадка морали и нравственной сдержки — такіе писатели, как Иван Сергѣевич Шмелев, являются не только художниками слова, но наставниками, учителями. И умер он, радуясь возможности пожить в монастырѣ, очиститься и приняться за окончаніе своего великолѣпнаго труда «Пути небесные».

Кончина Ивана Сергѣевича явилась полной неожиданностью для его близких и знакомых. Несмотря на его большую слабость, так остро усиливавшуюся при малѣйшем волненіи или возбужденіи (иногда от ничтожных причин),

— его отправили в деревню. Перенес он дорогу сравнительно хорошо, хотя и попросил один раз остановить автомобиль, чтобы отдохнуть, полежать на землѣ. Как-то особенно взволнованно он радовался солнцу, зелени, красивым видам холмистой мѣстности... Пріѣхал на мѣсто (в Бюсси), полежал, отдохнул, сравнительно бодро говорил со всѣми; затѣм с аппетитом покушал творог со сметаной и собирался уже ложиться спать. Всѣ разошлись. Сидѣвшія в нижнем помѣщеніи монахини услышали какой-то шум, какой-то глухой стук наверху и поспѣшили в комнату Ивана Сергѣевича: нашли его лежащим на полу, около кровати. «Ослабѣл совсѣм», сказал он. Его положили на кровать. Слабость быстро усиливалась и через час он скончался.

Разсказы будто у него был рак, повидимому, были совершенно не обоснованы: был обнаружен запущенный туберкулез обоих легких. Почему его отправили в деревню, не провѣрив хорошенько состоянія его сердца — неизвѣстно; но картина его смерти — острая прогрессирующая сердечная слабость, принявшая быстро трагическій оборот, повидимому, в результатѣ лишней усталости от дороги и затянувшихся разговоров с новыми людьми.

Неисповѣдимы пути небесные — и да будет воля Господня!

Ксения Деникина

ИВАН СЕРГѢЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Я давно испытываю душевную потребность написать о нашем милом Иванѣ Сергѣевичѣ, но все не рѣшалась. И потому, что он — сложный, ни под какіе шаблоны не подходящій, и потому, что всегда трудно писать о человѣкѣ близком. Без малаго четверть вѣка продолжались наши дружескія отношенія, жили наши семьи в Парижѣ и часто на лѣто уѣзжали вмѣстѣ, то на берег моря, то в горы. Зимой мы видѣлись рѣже; большой город с его разстояніем и суетливой жизнью затрудняли общеніе. Сохранилось у меня только нѣсколько десятков его писем,*) а переписывались мы постоянно и живя в одном городѣ; ими я пользуюсь для этого очерка.

Конечно, я совсѣм не квалифицирована давать оцѣнку И. С., как писателя, просто попробую разсказать о нем каким мы его знали и как воспринимали. Но все же не могу не упомянуть о недоброжелательной критикѣ, которая отравляла его, и без того тяжкую, жизнь.

*

Небольшого роста, худенькій, с лицом аскета, с быстрыми движеніями, сразу загорающійся — Иван Сергѣевич так же страстно реагировал на малыя дѣла, как и на большія. Судьба какой-нибудь птички, выпавшей из гнѣзда его также волновала как и крупныя событія. Когда мы лѣтом жили «на лонѣ природы», он по нѣсколько раз в день пріѣзжал на своем, непомѣрно для него большом, велосипедѣ, разсказать о новой мысли, мелькнувшей у него, или о том что у Ольги Александровны пироги подгорѣли, или о полученном письмѣ от иностраннаго издательства. Подѣлится впечатлѣніем с мужем или со мной и торопливо уѣзжает.

Оба они с женой были как-то безпомощны в устройствѣ своей жизни и это очень дѣйствовало на нервы писателю. Так у них много лѣт не было постоянной квартиры; нанимали меблированную на нѣсколько мѣсяцев в Парижѣ, а потом, на лѣтній сезон — в деревнѣ. В апрѣлѣ 1929 г. Ив. С. нам пишет:

---

*) Письма эти хранятся в архивѣ Колумбійскаго университета.

«Ах, как надоѣло мыкаться; сборы, укладка, и — опять... Не буду больше кочевать, сяду прочно и буду заканчивать крупныя вещи, пришла пора писать «Спаса Чернаго», ему отдам всѣ силы».

А через 4 года, в октябрѣ 1933 г. все еще:

«В ужас прихожу, гдѣ же мы устроимся! Конечно, легче немеблированную найти, но придется рухлядь заводить, а я уж от всего этого СВОЕГО отвык. Душу не соберешь, а тут надо плошки собирать. Но надо! Ибо тяжко так мыкаться, как всѣ эти годы, без твердаго причала. Мнѣ эти отрывы — переѣзды дважды в год... душевно трудны и мѣшают сосредоточиться; только войдешь в работу — переѣзжай...»

А через год — снова:

«Надоѣло ѣздить... надо искать домик. Если что узнате — подумайте о нас... Ищем осѣдлости. Нам нужно три комнаты, с ванной-бы, с садиком. Отопленіе еще надо. Устали, не сказать!»

Я не раз пыталась им помочь, но это было не легко, уж очень порывистый был Иван Сергѣевич. Когда в іюнѣ 1934 г. я нашла им домик, писатель радостно согласился, потом вдруг категорически отказался, а через недѣлю передумал опять и прислал телеграмму, чтобы домик задержать во что бы то ни стало. Его слѣдующее письмо ко мнѣ заканчивалось так:

«Воображаю, как Вы возмущены моей нерѣшительностью и говорите — Ну и путанник этот наш писатель, не дай Бог! ВѢРНО! Каюсь...»

подписано: — «Безпокойный и трепыхающійся Ив. Шмелев».

Также «безпокоен» был Иван Сергѣевич в своем писаніи. Он брался одновременно за нѣсколько тем, бросал иногда начатое, через нѣкоторое время возвращался к нему; то загорался так, что писал день и ночь, и Ольга Александровна изнывала в безпокойствѣ за его здоровье, то мѣсяцами мучился всякими сомнѣніями и не мог написать ни строчки... Я помню, когда он задумал писать «Солдаты» и приходил к нам читать каждую главу. Антон Иванович, возможно осторожнѣе, отмѣчал неправильности и неточности в описаніях военнаго быта. Их было очень много, т. к. Шмелев никогда близко не прикасался к военной средѣ и имѣл о ней довольно смутное представленіе. Разговоры и

взаимоотношенія между офицерами и солдатами были у него совершенно неправдоподобны, картины жизни в казармѣ не соотвѣтствовали дѣйствительности, даже в военных формах и правилах дисциплины он совсѣм на разбирался. Так, его пѣхотные офицеры носили саблю или палаш; командир полка являлся на бал с револьвером у пояса, а штык висѣл прикрѣпленный к сѣдлу кавалериста... В концѣ концов, он бросил этот роман и, насколько я знаю, никогда его не дописал.

В 1929 году Иван Сергѣевич писал ген. Деникину:

«... Работать пріятно, хочу и хочу писать. До отъѣзда дам еще три очерка. Скоро прочтете «Ефимоны»; пишу «Постный торг», затѣм «Благовѣщеніе», «Говѣніе»... А лѣтом «Солдаты» и «Иностранца». Очерки хочу давать по два в мѣсяц, довольно зѣвать, время не ждет, а надо дать ВСЮ РУСЬ. На очереди еще «Спас Черный».

А нѣсколько мѣсяцев спустя, он переживает період депрессіи:

«...Я весь в разбитости. Пера в руки не беру. Ибо так утомлена душа, что трудно держать себя в порядкѣ... Будь один... ушел бы, кажется, в монастырь. Серьезно! Все больше и больше претит суетность жизни, мір».

Очень остро и нервно переживал писатель міровое положеніе:

«Разбит и себя не соберу, мысли валятся, как сухіе листья... от всего в мірѣ творящагося. У человѣчества нѣт ни единой ВѢРНОЙ цѣли, ни всеобъемлющей идеи, так все — однодневное, случайное, без руля и без вѣтрил... Начало 19-го вѣка насколько же было всячески богаче, вѣрнѣе! Нынѣ — общій упадок вѣры ВО ВСЕ, выпаденіе стержней... Закат цивилизаціи. Ни любви, ни вѣры, одни слова... Все больше теряю вѣру в ЧЕЛОВѢКА, видя всеобщее лицемѣріе, низость... продажность совѣсти. Если только еще уцѣлѣла рѣдкость эта! Безсердечіе и безчеловѣчность. Воистину — БЕЗЧЕЛОВѢЧНОСТЬ.»

Когда мы стали уѣзжать на лѣто в горы, вмѣсто берега моря, Шмелевы послѣдовали за нами. И оба увлеклись, как и мы чудесной горной природой. Ходили мы всѣ, с нашей молодежью, в далекія экскурсіи, ползли часами по крутым тропинкам, невзирая на годы и болѣзни. Непередаваемая — то величественная, то нѣжная — красота Божьяго міра, которая открывалась перед нами, — далекіе виды, каменныя

кручи, цвѣты, растущіе только на высотах, водопады, жаворонки над альпійскими лугами, горные озера — вызывали бурный энтузиазм Ивана Сергѣевича. Он воспрянул духом, говорил, что молодѣл душой и сердцем, что когда его легкія надышатся чудным воздухом и глаза насмотрятся на всю эту красу, он засядет за писаніе с новыми силами и «горной энергіей». Мечтал даже написать «бѣженскій роман» в горной обстановкѣ. Мы еще не видали его таким бодрым и довольным.

Но и это было кратковременно. Вскорѣ стало сдавать здоровье Ольги Александровны, писатель же постоянно прихварывал. И к болѣзням своим он относился повышенно и порывисто. То сам назначал себѣ такую строгую діэту, что жена говорила ему о голодной смерти, то объявлял себя выздоровѣвшим, начинал ѣсть все и даже пить водку.

Наконец, они нашли себѣ постоянную квартиру в Парижѣ. Много было хлопот с ея меблировкой и устройством. Но только они, бѣдные, осѣли окончательно, как послѣ краткой болѣзни умерла Ольга Александровна (1936 год). Это был непоправимый и непереносимый удар для Ивана Сергѣевича. Нельзя было даже себѣ представить, как он будет жить без нея... Тихая, спокойная, вѣчно работающая, беззавѣтно любящая, она была другом его жизни, его помощницей, нянькой, сестрой милосердія. Он не умѣл дня прожить без нея.

И вот... Пришлось жить, болѣть, работать годы в полном, горчайшем одиночествѣ... Только глубокая вѣра спасала писателя. В 1948 г., незадолго уже до своей смерти и послѣ кончины моего мужа, И. С. писал мнѣ:

«Я всѣ эти 11 лѣт с ея смерти заполняю пустоту работой. Мнѣ были даны предѣльныя испытанія, Вы знаете. Я до сей поры — Бога ищу и своей работой, и сердцем (разсудком нельзя!). Мнѣ надо завершить мой опыт духовнаго романа «Пути Небесные», то, что у меня написано — лишь треть всего... Ксенія Васильевна, я понимаю Вас, я знаю это тяжкое чувство одиночества, но для вѣрующаго не должно быть одиночества. Помните, никто не умирает. У Господа — всѣ живые. О сем пишу (Вы прочтете) в «Куликовом полѣ»,

Он писал еще как многое разскажет мнѣ при свиданіи, ибо собирался пріѣхать в Америку. Хотѣл дожить свои дни здѣсь в православном монастырѣ, гдѣ надѣялся найти под-

ходящую обстановку для больной души и дописать самое свое дорогое произведеніе — «Пути Небесные».

— «Мой отъѣзд — тоже исканіе. Я ищу родной воздух, пусть хоть марево родного. Жить вблизи обители... там, как бы наше: мѣста глухія, воздух, уклад, пѣснопѣнія... Если доведется, разскажу, и Вы увидите, как все идет без моих усилій, как бы промыслительно до изумленія».

И не довелось... Не довелось вѣроятно благодаря тому недоброжелательству, о котором я упомянула. Умер Иван Сергѣевич в Европѣ.

*

Теперь хочу сказать о том, как несправедливо нѣкоторые критики к нему относились и до сих пор относятся: «К Шмелеву почти никогда не было справедливаго отношенія» — признается один из них и объясняет это страстностью его писаній... Но развѣ страстность писателя не показывает прежде всего искренность его горѣнія и развѣ только к спокойным и безстрастным можно относиться со справедливостью?

Еще говорят — талант у него несомнѣнный, но какой то искалѣченный, больной... Не правильнѣе ли сказать, что был большой талант у человѣка с больной душой. А душа у него и у его вѣрнѣйшаго друга — жены, была дѣйствительно больная, сломленная навсегда. Они потеряли единственнаго сына, погибшаго в большевицкой чрезвычайкѣ. Это так болѣло, что примириться они никогда не смогли и говорить об этом избѣгали. Лишь изрѣдка, Ольга Александровна, укладывая спать внучатаго племянника, котораго они воспитывали, нѣсколькими скупыми словами дѣлилась со мной воспоминаніями о каких-либо чертах или поступках своего маленькаго сына.

В письмах Иван Сергѣевич иногда глухо говорит:

«Тоска напала. Со мной бывают такія темныя полосы тягчайшаго душевнаго состоянія... Переживаю такую давящую тяжесть тоски, как бы душевную безвыходность — все о том же, о нашем... Не могу работать, все больше лежу.»

В 1933 г. писатель тяжело переживал смерть матери, о которой ему сообщила сестра из СССР. — «Скончалась моя матушка 88 лѣт. На руках любящей дочери, слава Богу. Как больно получить такое извѣстіе послѣ годов молча-

нія... И такая пустота вселилась в меня... Может и пустота вселиться. Все из рук валится, разучился думать...».

Да, больная душа и удивительно ли это в нашу страшную эпоху! Но не «искривленная», не «искалѣченная».

Упрекают критики Шмелева и в том, что он своими описаніями русской жизни — убаюкивает, утѣшает, напоминает о том, что большинству пріятно и сладостно вспомнить, возстанавливает ту поэзію, которая соотвѣствует разбитым сердцам наших соотечественников... А, по моему, и слава Богу. Зачѣм обязательно выискивать плохое и темное, зачѣм паки и паки описывать всякіе надрывы? Они были, несомнѣнно, но если об этом писал Достоевскій, это не обязательно для других писателей, желающих показать «правую сторону медали» — хорошія черты русской жизни и русской души, и в мелком и в великом.

Странно, что именно с Достоевским чаще всего сравнивают Шмелева. Не думаю, что это сходство правильно внутренне, но внѣшне оно безусловно было. Когда я читаю о Достоевском, что он — «Сремительно бѣжал нервной, торопливой походкой... всегда жил в тревожном безпокойствѣ, вѣчно болѣл своими мыслями, вѣчно спешил, говорил безпорядочно..., был страстно восторжен... много раз принимался за одно и тоже, постоянно обѣщая еще что то выяснить и доказать...» (Волжскій), то это точно списано со Шмелева.

Еще обвиняют его в «квасном и оперном патріотизмѣ», в злоупотребленіи словечками, картинками мелкаго быта, в витіеватости стиля... Мнѣ же кажется, что для того, чтобы дать картину — живую, теплую и ощутимую, нашей страны и народа, как и чѣм он жил, надо говорить и о малом, ежедневном, но характерном, чтобы это было понятно и дѣтям нашим, выросшим на чужбинѣ, тѣм, что пришли из за желѣзнаго занавѣса и никогда прежней Россіи не видали, и могло войти в их сердца. Конечно у И. С. Шмелева свой особый слог и манера выражаться, но это и характеризует писателя. Что же касается искренности, а не нарочитости его, то в этом не сомнѣваются навѣрное всѣ, кто знал Иван Сергѣевича и большинство тѣх, кто читал Шмелева.

— «Мнѣ особенно дорого слово доброе от друзей читателей, — говорит И. С. — Вѣдь устала Сивка, устала... Дорога то чужая, незнаемая. Русским шажком бѣжит Сивка,

а надо, чтобы по европейски шла. И не понимает Сивка... Но, спасибо, доброе слово слышит... Не вся душа истаяла и родное, былое — доброе из этого былого (а что плохое-то вспоминать!) просится из души на волю. И как же отрадно этому родному былому вылѣзать на чужой землѣ, оживать в чужом воздухѣ. Вот и пишу «Лѣто Господне», вылавливаю по крошкам, выкладываю на малый столик».

На этот малый эмигрантскій столик и выкладывал писатель крошки неповторимой, навсегда ушедшей Россіи: словечки и выраженія красочнаго языка московскаго купечества и мастеровых, «божьих людей», старой няньки; обычаи, Бог знает в какой древности зародившіеся, подчас забавные и старинные; наивныя повѣрья и эти россійскіе типы, самобытные, никакой психологіи и объясненіям не поддающіеся, которых только наша многообразная страна и могла родить.

Вот «Старенькій Клавнюша Квасников, который божественным дѣлом занимается, всѣх благочинных знает, всѣх протодіаконов и архіереев, а уже о мощах и говорить нечего... живет он как птица небесная и вездѣ ему корм хорошій, потому каждый день празднуют гдѣ нибудь, а он всѣ именины знает... Вчера праздновали в Кремлѣ святителей Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, а повар митрополита Іоанникія — Филипп. Так он ему просфору преподнес, ему и наложил в сумку осетринки заливной, пирогов всяких и леща с налимьим плесом. А Клавюша сам мало вкушает, по бѣдным разносит. И так ежедень.»

Или — «Пріѣхал Фирсанов с поварами и Гараньку от Митріева трактира привез, дѣлает соус из тертых рябчиков. А дерзкій он — Гаранька, и рябиновки двѣ бутылки требует, и с поварами дерется, да другого такого не найти. Орудует он на погребицѣ, чтоб секрет его не подглядѣли.

На кухнѣ — дым коромыслом. Навезли повара всякаго припасу, всю ночь будет работа. Кухарку Марьюшку выжили, она и свои иконы унесла, а то халдеи эти своим табачищем и святых задушат, послѣ них святить опять надо.»

И еще: «Поѣхали на Зацѣпу к Солодовкину за соловьем, Мазиловскіе не годятся... Заставил он их пѣть, органчики такіе у него заиграли; прямо заслушались. Выбрал нам соловья — «Не соловей, а хвалите имя Господне», так сказал... Ну и святой любитель Солодовкин, каменный дом прожил на соловьях, по всей Россіи за ними гоняется.»

Ну развѣ когда нибудь такое вернется? А вѣдь было...

И тѣ мелочи жизни, быта, говора, которыя так мастерски приводит писатель Шмелев, оживают и оживляют прошлую Россю, дают ея колорит, улыбку. О всяких темных сторонах ея (а у какого народа, у какой страны их не бывает?) писали так много, так многіе писатели, что даже создали в мірѣ совсѣм превратное представленіе о нашей Родинѣ.

Пусть у нас «особенная стать», но при всем многообразіи было у нас так много хорошаго, талантливаго, особеннаго, даже святого, что, возстанавливая прошлое, надо его мѣрить справедливым аршином и воздать должное. Темными и свѣтлыми мазками рисуется картина.

Один извѣстный критик в своей, уже посмертной, оцѣнкѣ писателя говорит: — «Шмелев тему о Россіи снизил... Со всемірных просторов духовной культуры, от леденящих сквозняков над этими просторами, иногда носящихся, он уводит Россію назад...». И опять я скажу, что об этих «всемірных просторах» было уже много написано, может быть, слишком много... А «леденящіе сквозняки» в концѣ концов задули не только русскій огонь, но грозят потушить и міровой свободный дух. Горчайшим опытом наученное человѣчество начинает уже смотрѣть другими глазами на эти «метафизическіе фоны» и, если переживет роковую эпоху и уцѣлѣет, то неизбѣжно «переоцѣнит всѣ цѣнности».

Отдадим же должное горячей душѣ прекраснаго русскаго писателя, так страстно любившаго Россію и так глубоко страдавшаго за нее.

«Среди зарубежных русских писателей, Иван Сергѣевич Шмелев — самый русскій, — говорит поэт Бальмонт, — Ни на минуту в своем душевном горѣніи, он не перестает думать о Россіи и мучиться ея несчастьями».

Когда началась послѣдняя война, И. С. очень тяжело это переживал. Я приведу нѣсколько слов из его писем от 1939 года, которые звучат, как будто они написаны сейчас:

— «Я знаю: Чистая наша Россія **будет.** Увѣнчанная страдалица... Теперь уже открылись глаза міра и все понятно. Будем же вѣрить, что отыщется затерянный путь к правдѣ, что истинная Россія себя найдет... Идет новое поколѣніе, молодое, хватившее всего и дерзкое. Да будет приход его под знаком Господним»!

Неважно, что не одобряют Шмелева многіе суровые кри-

тики, что находят в нем недостатки, что доказывают будто он не на высотѣ классических образцов.

Он — Богоищущая душа, послѣднiй писатель той исконной русской жизни, в которой, невзирая на прогресс, большiе города и всякую современную технику и комфорты, жила еще россiйская кондовая душа со своим стремленiем к праведному. Он — нам понятный и наш родной писатель.

А. Зернин

У ШМЕЛЕВА В ЖЕНЕВѢ*)

Лѣтом 1948 года мнѣ довелось посѣтить И. С. Шмелева в Швейцаріи, гдѣ он находился для лѣченія. Наш писатель уже был болен и должен был соблюдать режим. Он жил в Женевѣ у своих швейцарских друзей, одиноко, «с правом пользованія кухней» и сам готовил себѣ режимный стол.

Иван Сергеѣвич открыл мнѣ дверь и, первым долгом, с очаровательною старомодною любезностью, просил напомнить ему мое имя и отчество, ибо мы встрѣчались давно и знакомство наше было случайным.

Мы прошли на кухню, так как писатель был занят приготовленіем обѣда, и я не желал прерывать этого занятія. Разогрѣвая на сухой сковородѣ ломтик мяса и поминутно перевертывая его, чтобы он не пригорѣл, Иван Сергеѣвич любезно освѣдомился о моих дѣлах. В свою очередь, я просил разсказать о его текущей работѣ и его литературных планах.

И. С. Шмелев, стоя у газовой плиты, начал говорить о задуманных, еще не выполненных трудах.

Описать духовное перерожденіе невѣрующаго человѣка, обращеніе его к вѣрѣ — таково было заданіе, которое поставил себѣ .И С. в тот момент. Все движеніе этого процесса должно было быть показано во 2-й и 3-ей части «Путей Небесных». Чтобы выполнить эту работу, И. С. хотѣл поселиться на нѣкоторое время в монастырѣ, пожить в настоящей монастырской обстановкѣ, что возможно сейчас только в Америкѣ.

Для проведенія этого плана в исполненіе нужны были, конечно, средства, а средств не хватало. И. С. жил только литературным заработком, который, несмотря на хорошій сбыт произведеній нашего любимаго писателя, — далеко не был достаточен.

— А читатель у меня большой и вѣрный, — говорил Иван Сергѣевич. — Как вы попали в Швейцарію? — спросил он затѣм.

---

*) «Русская Мысль». Париж, 1950.

Я разсказал, что пріѣхал, чтобы посѣтить могилу сына, умершаго здѣсь в санаторіи от болѣзни, полученной на фронтѣ.

— Я тоже потерял сына. Он был убит в началѣ революціи, — с живостью замѣтил И. С. — Но вѣрьте, разлуки нѣт: наши дорогіе всегда с нами. Я чувствую их присутствіе около себя каждую минуту.

И. С. оживился и продолжал с большим одушевленіем.

— Разскажу вам нѣсколько случаев из личнаго опыта. Однажды, в Парижѣ, в період бомбардировок, во снѣ вижу сына. Он обнимает меня и говорит: «Не бойся, папочка, я с тобой побуду»... Вдруг бомба падает на дом, разрушает часть моей квартиры. Я уцѣлѣл чудом... И еще... Вы знаете, — шапка — это завершеніе мужчины. Русскій мужик без шапки на улицу не выйдет. Послѣ смерти жены ко мнѣ приходили друзья, иногда звали меня с собой, чтоб не оставлять в одиночествѣ. Я не знал, как поступить — уходить из дому не хотѣлось. Мысленно спрашиваю жену, как поступить? И в этот момент вижу — в передней: знакомым жестом чья-то рука гладит мою шапку, — условный знак перед прогулкой... Или еще... Сижу один, послѣ смерти жены, и мысленно восклицаю, обращаясь к ней: «Чувствуешь ли ты, как я одинок? дай мнѣ отвѣт каким-нибудь знаком, чтобы я знал, что ты меня слышишь»... Через нѣсколько дней получаю из Голландіи от неизвѣстной читательницы письмо, которое начинается словами: «Не думайте, что вы одиноки! Вся масса ваших друзей и читателей мысленно все время с вами», Подпись незнакомая, но с именем и отчеством моей жены... Повѣрьте, — наши дорогіе все время около нас.

— Я вѣрю этому, Иван Сергѣевич, но не всѣ люди столь чутки душевно, как вы. Это особый дар. Быть может этот дар дает вам возможность почувствовать, что будет с Россіей. Скажите мнѣ, и я приму ваши слова на вѣру.

— На это я вам отвѣчу так. Русскій народ как бы создан для исканія правды Божіей. Святой Владимір был лишь выразителем народнаго духа, приводя Русь ко крещенію. Русская душа жадно восприняла свѣт христіанства, которым озарялись всѣ стороны русскаго быта. И вот уже тысячу лѣт наш народ живет ради правды, ищет ее, падая и поднимаясь. В поисках этой правды он пошел и за большевизмом, но был жестоко обманут и оскорблен. Он наивно

повѣрил в «правду» большевизма. Но теперь этого нѣт. Я знаю совершенно точно, из источников неоспоримых, что народ больше не вѣрит своей власти и принимает от нея все «наоборот». Если власть говорит: «вот твои враги», то народ понимает, что это его друзья. Во время послѣдней войны народ повѣрил нѣмцам, объявившим, что они борятся с коммунизмом, а не с Россіей. Нѣмцы совершили чудовищное преступленіе, обманув уже обманутый народ и посягнув на самую Россію, в защиту которой, как один, поднялись всѣ русскіе люди. И отстояли. Отстоят Россію и теперь, сбросив чужеродное коммунистическое ярмо!

Я прощаюсь. Шмелев меня провожает с чарующей, старомодною сердечностью. И. С. прикрывает дверь, но задерживается на секунду, и с твердостью и проникновеніем восклицает:

— С вами мальчик ваш, он вам помогает!

И я покоряюсь этому внушенію. Вѣрю, что разлуки нѣт. Вѣрю и в то, что Россія идет к возрожденію.

М. Дьяченко

У ШМЕЛЕВА В СЕВРѢ

Давно уже хотѣлось мнѣ повидать Ивана Сергѣевича Шмелева, услышать его задушевную образную рѣчь, его захватывающее художественное чтенiе, — и приглашенiе Ивана Сергѣевича побывать у него на Святой особенно порадовало меня. . .

Сойдя с трамвая у мэрiи Севра, я стала по каменным ступеням подниматься на улицу Соловьев. Крутой подъем среди зеленѣющих садов, по слегка размытой дождем дорогѣ, невольно напомнил мнѣ Алушту. И в памяти моей встала маленькая хибарочка на вершинѣ балки, окруженная сползающими к берегу виноградниками, с безбрежной пеленой синѣющаго моря внизу.

С какой любовью занимался тогда И. С. своим маленьким садом, цвѣтами и овощами, какую борьбу приходилось ему вести из-за них с цѣлой семьей неугомонных курочек, каждой из которых хозяин дал мѣткое прозвище, начиная с пестренькой «Купчихи», с развальцем, расхаживавшей между клумб. А сколько хлопот причинял красавец-павлин, подымавшiй с ранняго утра шум над самой головой Ивана Сергѣевича и требовавшiй много корма в то время, когда каждая горсть крупы была на учетѣ.

«Дорого он мнѣ стоит, да красив, мерзавец!», — говорил И. С., любуясь вѣерообразным хвостом своего любимца.

А сколько забот требовали кролики :«Саша Черный». «Андрей Бѣлый», «Горькiй» и другiе.

Как радовался Иван Сергѣевич этой крошечной усадебкѣ с ея пернатыми и четвероногими обитателями, так художественно и любовно описанными им в «Солнцѣ Мертвых»!. . .

***

Звоню у калитки, но на мой звонок не отзывается яростный лай псов, как в Алуштѣ, гдѣ порой от них проходу не было.

Милая Ольга Александровна открывает мнѣ, и я вхожу в свѣтлый, уютный домик.

Несмотря на конец Святой, в столовой на столѣ красуются разноцвѣтныя пасхальныя яички, кулич и остатки

розговѣн. За столом рѣчь идет о церкви, о Сергіевском Подворьи, о впечатлѣніях Страстной седмицы и Свѣтлой ночи.

Усѣвшись в кресло послѣ чая, Иван Сергѣевич, к моему великому наслажденію, читает свою проникновенную «Царицу Небесную». В его художественном чтеніи, как живой, выступает образ Горкина с его своеобразной народной рѣчью, его говорком на «о», его дѣловитостью, глубоким чувством церковной красоты, его нѣжной привязанностью к маленькому барченку, типичный образ вѣрнаго приказчика и дядьки, который, по утвержденію проф. Кульмана, «войдет в литературу навсегда памятным типом, подобно пушкинскому Савельичу».

Неземным миром и всепрощающей любовью вѣет от благостнаго образа Той, Которая «все видит, все знает и все прощает», как любвеобильная Мать. Грустно становится на душѣ чуткаго мальчика, когда небесная Посѣтительница покидает двор, и будничная жизнь вновь властно вступает в свои права.

Художественный реализм и нѣжныя, глубокія мистическія переживанія сливаются в одно гармоничное цѣлое в этом прекрасном очеркѣ.

***

Я спрашиваю И. С. об отношеніи иностранной критики к его произведеніям, которыя переведены почти на всѣ европейскіе языки. У него собрана цѣлая критическая литература на разных языках, в том числѣ ряд восторженных писем Киплинга, Сельмы Лагерлеф, Ромэна Роллана и других, писем частнаго характера и потому, к сожалѣнію, не подлежащих оглашенію.

— Но вас очень трудно переводить, — говорю я, — так как вы живописуете не только словами и стилем, но и ритмом, который передать на иностранном языкѣ невозможно.

Меня интересует, как переведена «Неупиваемая Чаша», написанная в Алуштѣ в то время, когда, по образному выраженію Ивана Сергѣевича, «стены и окна плакали»? В художественном чтеніи автора она произвела на меня впечатлѣніе нѣжнаго, прекраснаго ноктюрна, с ея меланхолическим ритмом падающих осенних листьев. И. С. передает мнѣ французскій перевод «Неупиваемой Чаши», сдѣланный отличным литературным языком, но все же, лишивший это прекрасное произведеніе того музыкальнаго очарованія, которое дал ему художник на родном языкѣ.

— Или, например, как сохранить на иностранном языкѣ музыкальное очарованіе ваших «Розстаней»? — спрашиваю я.

— Каждое мое произведеніе, несомнѣнно, имѣет свой особый ритм, — говорит И. С., — и я два дня мучился, пока нашел ритм «Розстаней».

И как бы в подтверженіе того, что ритм безукоризненно выдержан до конца, как в совершенном музыкальном произведеніи, к моему великому удовольствію, читает мнѣ послѣднія страницы своей любимой повѣсти.

Удивительно прекрасен и глубок этот художественный пріем, эти свѣтлыя поминки ясной родимой природы над свѣтлой могилой тихо и мирно «отошедшаго в землю» старика.

Воспитавшись на произведеніх таких мастеров родного художественнаго слова, как Пушкин, Гоголь, Крылов, Тургенев, Лермонтов, Л. Толстой и Достоевскій, И. С, скромно называвшій себя «маленьким росточком от роскошних корней русской литературы», вѣрен не только ея художественным завѣтам, но и ея свѣтлым идеалам.

Для него, как для Гоголя, «слово — высшій подарок Бога человѣку», которое должно звучать не для одного лишь празднаго наслажденія, но и заставлять звенѣть завѣтныя душевныя струны «пробуждать лучшія чувства», подобно пушкинской «Музѣ». Вмѣстѣ с Жуковским, Иван Сергѣевич чувствует глубокое сродство искусства и религіи, для него, как и для Жуковскаго, «поэзія — религіи сестра земная», ея долг, подобно таинственному Колокольчику Вадима, устремлять нас в царство «верховной, вѣчной Красоты», вѣщать о высших запросах бытія, о Богѣ.

И характерен в этом отношеніи взгляд Шмелева на «Пророка», как на «вершину пушкинскаго творчества», очевидно, не по одному совершенству внѣшней формы, но по красотѣ и формѣ своего глубиннаго содержанія. Без него нѣт истиннаго писателя, и в этом смыслѣ И. С. не рѣшается причислить к крупным писателям ни Горькаго ни совѣтскаго А. Толстого, а «совѣтская литература» для него не существует.

Завороженный с дѣтства подобно Достоевскому, художественным обаяніем нашего несказанно прекраснаго богослуженія, Иван Сергѣевич глубоко чувствует и любит проникновенную красоту «Житій Святых».

— Отчего вы не напишете художественнаго переложенія «Житій Святых», — говорю я, — и не исполните того, что не удалось осуществить Лѣскову в его передачѣ «Пролога»?

— Я не раз думал об этом, но очень трудно передать неподражаемый стиль и язык «Житій». Вот послушайте, как прекрасно изложил бѣлыми стихами один афонскій монах повѣсть о мученикѣ Царѣ, Клеопатрѣ и ея сынѣ, — говорит мнѣ Иван Сергѣевич и берет с полки у образов афонскій листок.

— Читай погромче, чтобы и Ивочка мог слышать, — раздается из столовой голос Ольги Александровны, укладывающей за ширмами Ивочку, который только что перед тѣм так трогательно приходил «креститься» с «дядей Ванечкой».

Окончено чтеніе афонскаго поэта, часы бьют десять, и я с сожалѣніем покидаю милый, гостепріимный домик, унося в душѣ неизгладимое воспоминаніе о свѣтлых часах, проведенных в бесѣдѣ с И. С. Шмелевым, проникновенным пѣвцом нашей родной Святой Руси.

Вл. Маевскій

ШМЕЛЕВ В ВОСПОМИНАНІЯХ

Первая встрѣча с Ив. С. Шмелевым — одно из самых свѣтлых воспоминаній моей жизни. А одно из самых дорогих украшеній моей рабочей комнаты — его парижская фотографія с дружеской надписью. И другая фотографія, женевская, на которой уже очень больной Иван Сергѣевич изображен в обществѣ Д. И. Ознобишина и моем.

Первое знакомство мое с И. С. относится к началу Міровой войны, когда я был еще молодым человѣком, а он лѣт 42—43, с хорошим литературным именем. Замѣчательные разсказы к тому времени сдѣлали его хорошо извѣстным читателю. А повѣсть «Человѣк из ресторана» уже вывела его на настоящую писательскую работу. Потом я встрѣчался с Шмелевым уже в Крыму и в эмиграціи. И эти встрѣчи давали ощущеніе на рѣдкость замѣчательнаго и интереснаго собесѣдника, хотя наши бесѣды рѣдко велись о литературѣ. Я избѣгал их, да и сам И. С., как большинство настоящих писателей, думается, рад был вести разговор «отдохновительный» не писательскій, а простой — житейскій. Мы обычно и вели живой, даже веселый, обывательскій разговор и я не часто затрагивал вопрос о его произведеніях.

Так было в Крыму и Парижѣ, но совсѣм иначе проходили наши встрѣчи в Швейцаріи, куда привез больного писателя почитатель его и друг, Д. И. Ознобишин. Это были послѣвоеннные годы: И. С. измучился и изголодался за время нѣмецкой оккупаціи и радовался этому переѣзду в страну, которая дышала обильем и покоем. Он пріободрился, временами был весел, много шутил. Читал доклады в Женевѣ, Бернѣ и Цюрихѣ; посѣщал церковныя службы и бывал в нѣскольких домах. В это время шла переписка с США и намѣчалась поѣздка туда для завершенія переговоров с американским издателем и подписанія контракта. Мечтал на нѣсколько мѣсяцев поселиться вблизи русской обители и закончить двѣ работы, которыя «лежали на сердцѣ»: «Пути Небесные» и «Записки не-писателя».

Но недолго длилось у И. С. веселое, жизнерадостное настроеніе. Наступил упадок душевных сил и усиленіе болѣз-

ни. Причиной были жестокіе и завистливые враги нашего писателя. Объяснюсь подробнѣе, чтобы остался слѣд в исторіи писательских нравов русскаго Зарубежья, первую страницу которой пріоткрыл в своих воспоминаніях холодный, но очень умный и наблюдательный Ив. А. Бунин. Кое-что разсказала и Тэффи... Как было уже упомянуто, И. С. Шмелев собирался в США на нѣсколько мѣсяцев, а, если понравится, то и на 1—2 года. Для этого он подал заявленіе, но квартиру в Парижѣ задержал. Неожиданно пришел отказ в визѣ. Не придавая этому большого значенія, И. С. возбудил вторичное ходатайство. А вскорѣ «друзья» из Америки в анонимном письмѣ прислали вырѣзку из ньюіоркской газеты, в которой сообщалось:

> «Проживающій в Швейцаріи писатель Ив. Шмелев до сих пор **тщетно** хлопотал о предоставленіи ему американской иммиграціоннной визы. Шмелев хотѣл пріѣхать в С.Штаты по приглашенію церковных кругов, близких митрополиту Анастасію, и поселиться в жардонвильском монастырѣ.
>
> Во время германской оккупаціи во Франціи, Шмелев сотрудничал в жеребковском «Парижском Вѣстникѣ» и отслужил в соборѣ на рю Дарю благодарственный молебен по случаю занятія нѣмцами Крыма».

Все в этой газетной замѣткѣ высказано предѣльно: было ясно, что недруги Ивана Сергѣевича рѣшили все сдѣлать, чтобы он не попал в США, куда они бѣжали в 1941 году; рѣшили сдѣлать донос на старика, заслуженнаго русскаго писателя, очернить его перед американскими властями и общественным мнѣніем. А послѣднее, в это послѣ-военное время, было особенно чутко в вопросѣ двух крайностей: фашизма и совѣтизма...

Как бы то ни было, а это выступленіе недругов из писательскаго лагеря, которые не разбирались в средствах, огорчило больного старика, но не озлобило. Иначе я воспринял это незаслуженное огорченіе любимаго писателя и старшаго друга: оно вызвало раздраженіе и желаніе отвѣтить неправым оскорбителям. И это мое раздраженіе разрѣшилось статьей, которую я изготовил для американской газеты. Принес ее и прочел, когда И. С., разстроенный и больной, лежал в постели. Для него моя статья была полной неожиданностью и старик очень растрогался, прослезился,

но рѣшительно стал доказывать, что я должен задержать статью:

— Достаточно, что вы это сдѣлали для меня... Цѣню дружескій порыв, но рѣшительно прошу статью не отсылать. Передайте мнѣ на память. А, то что касается меня, то вообще рѣшил поставить крест на этом дѣлѣ и в США не поѣду теперь даже если бы и дали визу. Довольно!.. Недругам моим прощаю.

Только поздно ночью, прощаясь с И. С., удалось мнѣ вырвать его согласіе для напечатанія моей статьи-протеста, которую утром должен был сдать на почту. Статья эта заканчивалась слѣдующими словами:

«Совсѣм недавно в Нью Іоркѣ появилась на русском языкѣ краткая, но весьма ядовитая замѣтка о выдающемся національном русском писателѣ Ив. С. Шмелевѣ. Анонимный автор поспѣшил оповѣстить читателей, — а всего вѣроятнѣе предержащія американскія власти, — что наш популярный и любимый писатель **«тщетно** хлопочет о предоставленіи ему американской визы».

Все здѣсь недурно! Но особо слѣдует отмѣтить совершенно недопустимый пріем: при помощи свободной печати анонимы преподносят донос на старика-писателя. О каждом русском, подавшем заявленіе в консульство на предмет полученія визы и внесенном в списки, можно сказать, до момента ея полученія, что он «тщетно о ней хлопочет». Но в данном случаѣ автор анонимной замѣтки, конечно, хотѣл придать выраженію «тщетно хлопотать» — совершенно другой, явно опорачивающій оттѣнок...

Что касается указанія того же анонима на приглашеніе Ив. С. Шмелева «американскими церковными кругами, близкими митрополиту Анастасію», то и эту, мягко выражаясь, неточность легко разъяснить. Шмелев в действительности получил два аффидэвита: от своего американскаго издателя и Пушкинскаго Литературнаго Комитета, учрежденій, которых никак нельзя причислить к церковным кругам, а тѣм болѣе близким к митрополиту Анастасію (послѣдній в это время вообще не был в США и проживал в Германіи).

Кстати: вопрос о выборѣ мѣстожительства для больного и стараго нашего писателя вообще является в настоящее время преждевременным и проницательному автору анонимной замѣтки не слѣдовало пускаться в предположенія,

потому что легко может оказаться, что Шмелев примет приглашеніе совершенно из других кругов...

Аноним закончил свою замѣтку-донос сенсаціонным сообщеніем о том, что Шмелев отслужил в Парижѣ молебен по случаю освобожденія нѣмцами Крыма. На самом дѣлѣ, была отслужена панихида по жертвам богоборческой власти. А на территоріи Крыма покоится тѣло единственнаго сына писателя, — Сергѣя Шмелева, разстрѣляннаго большевиками.

Заканчивая это наше возраженіе по поводу недостойных выпадов печати против заслуженнаго, уважаемаго и любимаго русскаго національнаго писателя, Ивана Сергѣевича, — умѣстно отмѣтить одно весьма отрадное обстоятельство. Совсѣм недавно в Женевѣ состоялась міровая конференція печати, на которой обратило на себя всеобщее вниманіе выступленіе китайскаго делегата, высказавшаго пожеланіе о поднятіи интеллектуальнаго и **моральнаго** уровня журналистов... Вот на это обстоятельство редакціи, помѣстившей неумѣстную замѣтку против писателя Ив. С. Шмелева, слѣдовало обратить вниманіе анонимнаго автора, у котораго явно не высокій моральный уровень.»

Как я упоминал, с вынужденнаго согласія И. С., статью я должен был отправить до полудня. Но рано утром меня разбудил посыльный с письмом от Шмелева, в котором он просил эту статью не помѣщать. Вот это письмо, исполненное благородства и дружелюбія:

> «Очень цѣню Ваше дружеское желаніе помочь разсѣять клевету-навѣт... но не хочу явиться невольной помѣхой в Вашем благом дѣлѣ объяснить читателям важнѣйшія проблемы современности. Увѣрен, что газета не напечатает Ваше «поясненіе», меня касающееся, а также — гл.обр. — клеветников. Вы прямой человѣк, волевой, себя, по праву, цѣнящій; и возможный отказ редакціи Вас взорвет, — это я чувствую... Не посылайте статью! Продумав, я постараюсь найти способ — отвѣтить на продолжающуюся гнусность. Очень прошу Вас, не посылайте, не портите себѣ связь с русским читателем».

Сознаюсь, виноват — на этот раз просьбу Ивана Сергѣевича не исполнил. Статья была отослана в Америку и напечатана.

***

Всѣ эти тяжелыя переживанія плохо отразились на здо-

ровьи И. С. и окончательно подорвали его силы. У больного развилась меланхолія и он впал в то состояніе неопредѣленной и мучительной тоски, которое сдѣлало его на продолжительное время затворником в Женевѣ. По нѣсколько дней он совершенно ничего не мог дѣлать; чувствовал страшную апатію и упадок сил; часами лежал и много курил. При строжайшей діэтѣ, это еще больше ослабляло и нервировало его. Не только всякая работа была ему мучительно тяжела, но всякое проявленіе воли, всякій поступок казался ему тяжелым, мучительным. Всякое самое простое дѣйствіе требовало от него напряженія душевных сил, совершенно непропорціонального значенію дѣйствія и физической работѣ, с ним сопряженной. За очень большой промежуток времени он закончил только «Куликово Поле» и нѣсколько первых глав «Записок не-писателя». И только всего, да еще корректура новаго изданія нѣскольких книг, которыя выходили в Парижѣ.

Душу И. С. угнетала постоянная тоска. Он очень измѣнился и физически: осунулся еще больше, голос стал слабым и болѣзненным, походка вялая; его мучила безсонница, набухли еще больше мѣшки под глазами. Цѣлый день он не мог ничего дѣлать, а по ночам часами лежал и не мог заснуть. Только изрѣдка присоединялся к маленькому обществу своих друзей: Д. И. Ознобишина, проф. Ф. Е. Волошина и проф. А. И. Глазунова. Появлялся с ними в ресторанѣ или кафе. Всѣ три были его большими почитателями и заботливыми друзьями. Ознобишин, устраивая в таких случаях дружескій завтрак, с исключительным вниманіем и заботливостью лично заказывал для И. С. спеціальныя діэтическія блюда и сладкое. Но больной писатель вообще ѣл мало, — только клевал.

В эти послѣ-военные 1947—48 г.г. я проживал в Женевѣ и почти все свободное время проводил с И. С., засиживаясь у него до поздней ночи. Страдая безсонницей, радушный хозяин подолгу меня не отпускал. Если, бывало, один вечер я не показывался, — он звонил по телефону и просил «зайти». Или утром присылал с посыльным укоризненное письмо, с вопросом, почему не был у него наканунѣ. Как проводили мы время вдвоем? — В бесѣдах и чтеніи: И. С. был замѣчательный разсказчик и отличный чтец своих произведеній. Начинал тихо, потом воодушевлялся, потрясал худым пальцем, как бы заклинательно. Худенькій, слабый,

но очень благообразный, — он весь преображался... Читал в рукописи «Записки не-писателя» и говорил: «это — итог всего моего жизненнаго опыта». Любил добавлять: «если Господь даст еще жизни, закончу это и «Пути Небесные»... надо, надо».

Совмѣстно писали юмористическій разсказ, взяв за фабулу истинное происшествіе в первую Міровую войну на кавказском фронтѣ. «Для Холливуда!» — как любил шутить И. С. Иногда он читал наизусть, — а знал он наизусть множество стихов, — любимое свое, пушкинское. Надо сказать, читал он замѣчательно, хотя и по старинному: с пафосом, немного театрально. Прогулки подкрѣпляли физическія силы И. С.; разговор отвлекал от сосредоточенія на мрачных мыслях. Поэтому иногда мы уходили в университетскій парк или на берег озера и, послѣ освѣжающей прогулки, шли пить чай в кафе.

Бесѣды... На первом планѣ, конечно, стояла для И. С. русская литература, которую он знал очень хорошо. Но при этом знал отлично и иностранную. У него был тонкій вкус и отличное критическое пониманіе. Сужденія его были мѣтки и оригинальны, а отзывы — всегда искренни и самостоятельны. Все, что он говорил, было всегда его собственное, продуманное; он был в высшей степени самостоятелен и независим. Если он грѣшил иногда пристрастіем, то развѣ к произведеніям любимых авторов, своих пріятелей или людей, к которым он лично был расположен. Вообще же, у него была замѣчательная черта: в противоположность Ив. А. Бунину, он всегда сохранял мягкость, исключительную деликатность и даже ласковость к авторам, собратьям по перу, особенно к начинающим. Он им помогал, поощрял их и отечески поддерживал всегда! К писателям, к их творчеству — относился с полным вниманіем и уваженіем.

Разговоры с И. С. о литературѣ составляли для меня в Женевѣ всегда большое удовольствіе. За современным движеніем русской литературы, особенно на родинѣ, он слѣдил с большим вниманіем, и всякое проявленіе новаго таланта его сердечно радовало. В его сердцѣ не было никогда и тѣни зависти к чужому успѣху, чего, к сожалѣнію, нельзя сказать о других наших писателях, особенно читая их воспоминанія, исполненныя раздраженія и личных выпадов. Он любил старую русскую литературу и нѣкоторыя произведенія были его любимыми книгами, которыя он знал

почти наизусть. Знал он также много наизусть из старых поэтов; любил цитировать их и указывать на их достоинства. Но настоящим властителем его дум был Пушкин. Его произведенія были для И. С. настольной книгой, несравненным образцом художественнаго творчества. Он говорил, что Пушкина надо часто перечитывать, потому что с каждым годом жизни открываешь в нем все новыя, цѣнныя подробности.

Ив. С. Шмелев был одарен исключительно сильным умом, — и при этом умом в высшей степени свободным и самостоятельным. Никогда, не смотря на крайнюю мягкость своего характера, не поддавался он вліянію чужих мнѣній; никогда не боялся безпристрастно и искренно высказывать свой взгляд, как бы он ни шел в разрѣз с мыслями и чувствами его собесѣдника. И в разговорѣ с ним, чувствовавствовалось невольно, что он дѣйствительно серьезно продумал то, что говорит, и искренность его не подлежит сомнѣнію. Часто он останавливался посреди рѣчи и, придудумывая, пріискивал слово: как бы возможно точнѣе и добросовѣстнѣе выразить всѣ оттѣнки, всѣ подробности своей мысли. Ко всѣм явленіям жизни он относился с большим интересом и даже иногда проявлял большую горячность. Особенно болѣзненно ощущал и страстно реагировал на злыя стороны жизни, на порывы самопожертвованія. Физически отвращался от лжи, притворства и фальши во всѣх видах. Но по вопросам общественной жизни он не принадлежал, строго говоря, ни к одному из наших направленій. Он безпристрастно и терпимо относился к чужим взглядам, которых сам нисколько не раздѣлял. Но это вовсе не был индифферентизм к вопросам политики и общественной жизни. Наоборот! Его независимость и безпристрастіе не мѣшали ему к нѣкоторым направленіям русской жизни и к нѣкоторым литературным лагерям относиться безусловно враждебно.

Я с трудом рѣшаюсь говорить о характерѣ Ивана Сергѣевича. Я знаю, что не съумѣю достаточно ясно разсказать про глубокое благородство его души, про его доброту и сердечность; не съумѣю передать тот оттѣнок поэзіи и трогательной грусти, которыми вѣяло от всей его личности. Его чрезвычайная мягкость, благородное изящество всего его душевнаго облика дѣлали его обаятельным человѣком. Два года изо дня в день я наблюдал его в домашней обстановкѣ. И я

полюбил его за ясный ум и занимательный разговор; цѣнил его огромный литературный талант. Но для меня, — как вѣроятно и для всѣх, кто его лично и близко знал, — его ум и его талант все же как то блѣднѣли и отходили на второй план перед необыкновенною прелестью его личнаго характера.

В этом отношеніи Ив. С. Шмелев был дѣйствительно человѣк рѣдкій. Он не был способен ни на какое дурное движеніе душевное. Основная черта его была: необыкновенное уваженіе к правам и чувствам других людей; необыкновенное признаніе человѣческаго достоинства во всяком человѣкѣ, — не разсудочное, не вытекающее из выработанных убѣжденій, а безсознательное, инстинктивно свойственное его натурѣ. И только поэтому ему удавалось так правдиво и любовно описывать всѣ движенія человѣческой души, всѣ ея тончайшія извилины ея. Только поэтому смог он создать блестящую повѣсть «Человѣк из ресторана», которая дала право тогдашней критикѣ назвать Шмелева «художником обездоленных». И для послѣдних автор этой замѣчательной повѣсти был настолько понятен и дорог, что в разгар революціи вызвал к писателю совершенно исключительную признательность. Вот как чудесно это произошло:

Сына Сережу убили в Крыму большевики. В Крыму, в маленькой дачкѣ своей укрылись Шмелевы-старики. Время было жестокое: революціонная власть «наводила порядок». Потребовала, грозя смертью за ослушаніе, регистраціи всѣх офицеров. Шмелев был царскаго времени прапорщик запаса — и тоже пошел. Арестовали и увезли. Попал в революціонный комитет; указана комната, гдѣ нужно комиссару показать бумаги и получить назначеніе, куда слѣдовать дальше. Комиссар, молодой человѣк, — за столом, спиной к двери, не поворачиваясь, протягивает руку за бумагами. Читает их молча. Прочел и спрашивает рывком:

— Шмелев... писатель?

— Да, писатель.

Слѣдует другой вопрос:

— Это вы написали «Человѣк из ресторана»?

В полном недоумѣніи Иван Сергѣевич отвѣтил:

— Да, я.

Не поворачиваясь, протягивает бумаги и говорит:

— Можете идти домой... Когда понадобитесь, вызовут.

Ушел Ив. Сергѣевич, — ушел от смерти: всѣ зарегистрированные офицеры были отправлены в Ялту и там разстрѣляны... Кто был этот комиссар, спасшій нашего писателя от смерти, никогда Шмелев не узнал и никогда не видѣл его лица.

А был тогда же и другой чудесный случай в жизни И. С., еще опредѣленнѣе указующій на благодарную любовь к нему читателей. Когда сын Сережа был убит и неизвѣстно гдѣ и в какую «братскую могилу» был брошен, Шмелевы-родители начали искать по Крыму труп сына, чтобы по христіански похоронить его. Трудны эти скитанія были и опасны; полны лишеній. В Феодосіи нужно было пробыть нѣсколько дней и голодно питаться пришлось в коммунальной столовкѣ. Единственно спасали двѣсти грамм хлѣба, что выдавали по записи. Но на третій день исчез и этот послѣдній питательный пункт «за исчерпаніем продуктов». Куда дѣваться? гдѣ искать пищи в незнакомом городѣ, среди незнакомых людей? Истощены, а впереди голод. В полной растерянности остались Шмелевы стоять у ворот. Надѣясь... на что надѣясь? Из калитки вышел человѣк.

— Закрыто, ждать нечего!

— А гдѣ достать хлѣба? — спросил Шмелев, — вѣдь у нас его нѣт совсѣм.

— Позвольте, — вдруг спрашивает вышедшій (он был тѣм раздавальщиком хлѣба, который записывал выдачи, отмѣчая фамиліи), — ваша фамилія Шмелев?

— Да, Шмелев!

— Это вы писатель, что про нас написали?

— Как про вас? .. про кого?

— А про человѣка из ресторана? .. Я вѣдь служил здѣсь в гостинницѣ, прислуживал в ресторанѣ... Погодите, для вас хлѣб мы найдем.

Ушел обратно во двор. Выносит большую буханку хлѣба, завернутую в чистую тряпку... «Этим хлѣбом мы питались три дня, — вспоминал Шмелев. — Голод отошел! Мы остались с женой еще живы. Спасибо «человѣку, давшему нам хлеб»! — добавил он.

***

В сущности И. С. был замкнутым человѣком, горѣнія внутренняго. Душа его не всегда и не всѣм была открыта. Сходился он с людьми тоже не легко. Горе переносил тоже

внутри и страдал не мало; но страданіе свое тоже не выносил на люди. Чувство человѣческаго равенства было присуще И. С. в высшей степени: всегда со всѣми он держался одинаково. В его манерах, в его тонѣ, в его непринужденной, благожелательной вѣжливости я никогда не замѣчал ни малѣйшей разницы. Не было в нем и признаков того высокомѣрія к робким новичкам или несчастным бѣднякам, которое так отличало другого нашего выдающагося писателя-современника... Шмелев уважал право всякого человѣка имѣть свои интересы, а с кѣм бы он ни говорил, умѣл всегда войти в круг желаній и понятій своего собесѣдника; понять и оцѣнить значеніе тѣх интересов, которые его занимают.

Добр и мягок И. С. был подчас до забавнаго. Но доброта его не вытекала, как это бывает иногда, из близорукой довѣрчивости к людям и из непониманія их. Нисколько. Правда, случалось и ему увлекаться на короткое время людьми, которые потом повергали его в полное разочарованіе и заставляли подшучивать над самим собою и своим увлеченіем. Но это случалось рѣдко. Он легко и ясно видѣл слабости и недостатки людей; глупых и дурных людей, — а особенно фальшивых, — понимал отлично; рѣдко вдавался в обман. Но когда он встрѣчался с человѣком, котораго он в глубинѣ души не любил и не уважал, — он не мог, в силу самой натуры своей относиться к нему иначе, как благодушно. Как будто ни один человѣк не заслуживал дурного, враждебнаго к себѣ отношенія. И он вызывал против себя несправделивыя нареканія за такой, как казалось, индифферентизм. Но это вовсе не был на самом дѣлѣ индифферентизм, — это была неспособность проявленія чувств злобы и вражды против кого бы то ни было.

Злая насмѣшливость совершенно не была в характерѣ Ив. С. Шмелева, который любил лишь добродушно подсмѣиваться над своими друзьями, будучи увѣрен, что они понимают это его настроеніе. Но я не слыхал, чтобы он сказал кому-либо насмѣшку, колкость! если он хотѣл выразить свое неодобреніе, то всегда говорил серьезно и открыто, и всегда с огорченіем. А все-таки иногда он бывал вспыльчив, и если на его глазах случалась какая-нибудь гадкая, злая обида, то он мог раздражаться и без колебанія становился на защиту обижаемаго, не стѣсняясь тогда в выраженіях.

В заключеніе слѣдует сказать, что супруга Ив. С. Шме-

лева, Ольга Александровна, была его безцѣнным другом, помощником и ангелом хранителем. С большой любовью и терпѣніем она неизмѣнно окружала его заботами и посильно оберегала от огорченій; выхаживала во время продолжительной и тяжелой болѣзни; успокаивала и ободряла в дни разочарованій. Но величайшим подвигом с ее стороны, — подвигом, на который может отважиться далеко не каждая жена, — была ея жертвенная поддержка и рѣшительность, когда И. С. задумал «ломать» свою жизнь. Послѣ десяти лѣт безмятежной службы, сулившей завидную карьеру, он рѣшил вернуться к писательству, все бросить и ѣхать в Москву на неизвѣстное, может быть, и нищенское существованіе. Вот тогда, Ольга Александровна, вѣрный спутник жизни и преданный друг, поддержала рѣшеніе мужа: куда ты Кай, туда и я...

Радость Ивана Сергѣевича на протяженіи всей жизни была — в семьѣ. И благодарность и нѣжность к женѣ не имѣли предѣлов. Без ея преданной любви и без мужественнаго ея характера, может быть, он погиб бы гораздо раньше, в тяжелыя минуты жизни... Он чувствовал это и платил ей всей привязанностью сердца.

Иван Сергѣевич пережил Ольгу Александровну на двѣнадцать лѣт. Но потеря ее свалила его: он остался совершенно одиноким. И не оправился от этого удара, самаго страшнаго послѣ смерти любимаго сына.

М. С. Рославлев.

ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С, ШМЕЛЕВ

Я не могу похвалиться «старинной» дружбой с незабвенным Иваном Сергѣевичем: познакомился я с ним лишь незадолго до послѣдней мiровой войны. Но во время ея, в особенности послѣ смерти дружившаго с ним и очень дорогого для меня человѣка, мы как-то необычайно быстро и крѣпко сошлись; настолько, что не только я прибѣгал за совѣтом и моральной поддержкой к маститому и старшему на двадцать лѣт писателю, но и он по многим вопросам, даже писательским, не брезгал мнѣнiем своего тогда еще сравнительно молодого друга и его жены.

Сколько незабываемых часов провели мы с нею в сосѣдней с вот этой комнатой — в то время их непосредственно соединяла большая арка —, слушая увлекательное (и увлекавшее самого чтеца не менѣе нашего) мастерское чтенiе очередных отрывков «Путей Небесных» или «Лѣта Господня»... А когда мы нѣкоторое время не видѣлись, то переписывались, и в моем архивѣ бережно хранятся нѣсколько десятков длинных писем или кратких записочек, вродѣ слѣдующих:

От 24.9.43. — Милый Михаил Сергѣевич,

пока жив, — п и ш у... — и сам дивлюсь. Написал 6 глав второй части «Лѣта Господня»... Еще одна глава, и будет завершёно. А все — бомбы!.. Онѣ попали как раз в мою рабочую струю, но я не расплескался, а с о б р а л с я! Да еще как! Думаю —, милость Божiя. А там вложусь и в «Пути Небесные». Уж как хочу п и с а т ь, как!...

Дано уже: «Святая радость», «Живая Вода», — но это н е вода! «Москва», «Серебряный Сундучек» — мощи Цѣл. Пант. —, «Горькiе Дни» — как раз — и «Благословенiе» — дѣтей —. Послѣдним будет «Кончина» — только бы не моя; надо еще закончить главное. — А гдѣ и что дальше —в Руцѣ Божiей...

А вот письмо от 14. 6. 44.

Париж, 14.6.44.

... Жизнь тѣсна, тревожна, жестка, зла, безумна! Един-

ственное прибѣжище — о, Господь, не смѣю повторять, это прибѣжище всегда! — работа! Но как трудно уйти в нее! Вѣдь до 7—8 «тревог» на дню во всей этой тревогѣ.

Все же медленно отрываемый, ползу. Написал 60 страниц «Путей Небесных»... Как все это — как бы «по ту сторону». Это как-бы небо, а влачишься в прахѣ.

Вы благую часть избрали — служить земелькѣ, быть среди тихих, кротких птиц, звѣрушек, цвѣтов, плодов... а человѣкообразный звѣрь — как же пал и с того помостика, на который вскарабкался за тысячелѣтія!

Вот отчаяніе-то, и мнѣ уже не вѣрится, когда пишу «Пути». — да не грежу-ли... не «украшаю» ли?... Н-нѣт! Это было.

О, прогресс!.. «Эволюція жестокости» — писал давно Энгельгардт, а я, студент, читал — не вѣрил... Повѣрь же, слѣпой! По -вѣрил!

Питаніе и все — падает, скудно, трудно, и нѣт просвѣта. Но дорого мнѣ, что вѣдь было, и дивное было! и какія возможности намекались...

Особенно тяжело в мои годы быть на этом «Пиру Всеблагих» и получать осколки разбитых в безумном хмелю бокалов... А было в них чудесное вино! Живу «отраженіями»...

Ваш **Ив. Шмелев.**

Сегодня, в пятую годовщину смерти автора этих горячих строк, напитанных жаждою творчества, но и смиренной вѣрой в Промысл Божій, мнѣ хочется подѣлиться именно таким воспоминаніем, которое ярко иллюстрирует, в какой страшной необыкновенной обстановкѣ приходилось порою творить этому горѣвшему своим призваніем замѣчательному писателю земли Русской.

В началѣ сентября 1943 года, послѣ одного особенно сильнаго рейда союзных бомбовозов на завод Рене — а слѣдовательно и на сосѣдній с ним квартал Парижа у Порт С. Клу —, поспѣшили мы с женою провѣдать наших многочисленных, проживавших в тѣх краях друзей, в первую очередь — Ивана Сергѣевича. Разрушенія на авеню де Версаль и на рю Буало были ужасающія. Повсюду еще тротуары были загромождены мусором и обломками стѣн. Многоэтажныя зданія, расположенныя как раз напротив квартиры И. С. как не бывали: сплошная куча развалин. В

самом его домѣ всѣ ставни спущены, нѣкоторыя — с зіяющими в них пробоинами. Поднимаемся со страхом во второй этаж: затаив дыханіе, звоним. Слава Богу! Открывает сам хозяин. Ведет в освѣщенный электричеством, несмотря на яркій день, кабинет-спаленку: окна выбиты начисто и приходится ограждаться от холода плотно закрытыми ставнями, вѣрнѣе деревянными шторами; весь пол еще усыпан осколками стекла; разметена лишь тропочка в переднюю и от письменнаго стола в альковѣ, к постели. И вопреки всему этому, на столѣ пишущая машинка с очередным листом, от котораго мы, видимо, только-что оторвали автора! Улыбаясь, указывает рукой на весь этот хаос и просит извинить, что вынужден принимать в такой обстановкѣ: еще не прибрали, а самому не до того, надо писать, писать, пока пишется, пока цѣл!... А не за многим стало: спинка кожанаго стула за столом, как пулями, изрѣшетена осколками разбитаго взрывом зеркальнаго окна. К счастью, в этот момент И. С. еще не встал и вскочил лишь послѣ оглушившаго его страшнаго взрыва и звона пролетавших над его кроватью сверкающих стрѣл. Иначе, сиди он за столом, вся стеклянная струя угодила-бы ему прямо в грудь и голову... Господь помиловал!...

Но не в этом одном почувствовалась Рука Всевышняго: волна воздуха, ринувшаяся в комнату сквозь щели уцѣлѣвшей деревянной шторы, разметала в ней все: бумаги, бѣлье... но уголка с образами — из коих многіе были просто приколоты булавками к обоям — не тронула вовсе. Болѣе того, на полу перед этим «святым уголком» оказался еще и новый образок, точнѣе — картинка с изображеніем одной Итальянской Мадонны, хорошо извѣстной Ивану Сергѣевичу. Она висѣла на стѣнѣ в квартирѣ, расположенной как раз против его окна, и гдѣ жила одна горбунья француженка, за которой он неоднократно наблюдал, когда она по вечерам склонялась иногда над работой под ласковым взором этой висѣвшей за ея спиной в красивой рамочкѣ Мадонны... Теперь ни этого противоположнаго дома, ни бѣдной горбуньи уже не существовало, но каким-то чудом, вырванная из своей рамки и силою воздушнаго тока вдунутая сквозь деревянную штору картинка, но не порванная и даже не поцарапанная, оказалась в квартирѣ много раз любовавшагося ею писателя иностранца, присоединенная к другим, пощаженным бомбами священным изображеніям.

Голос разсказывавшаго нам это стараго друга дрожал от благоговѣнія, да и нас самих невольно пробирала дрожь, а в особенности, когда он снял со стѣны отрывной «Инвалидный Календарь» и уточнил нам, что все это случилось 3-го сентября, в день, когда составителям этого календаря «почему-то» как раз захотѣлось помѣстить небольшую выдержку из разсказа Ивана Шмелева: «Заступница Усердная»...

Бывают совпаденія на свѣтѣ, но в данном случаѣ их было настолько и так чудесно насыщенных, что позвольте на этом и оборвать, приведя лишь еще одну цитату из моей переписки с автором поистинѣ «дивнаго» «КУЛИКОВА ПОЛЯ»: «Насыщено многим, и дѣло, конечно, не в самом чудѣ — чудес много и в Минеях и в «Житіях» —, а — почему чудо, ради чего, «для чего, для кого?»... «Имѣющій уши слышать, да слышит!»... (Из письма И. С. Шмелева от 25.3.47).



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Георгій Гребенщиков

КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...

Какой ужас!.. Вначалѣ я написал в заголовкѣ: Москва, Москва... А потом зачеркнул, возмутился самим собою, не узнал Москвы. Так исказила ее нечистая сила, поработившая Кремль! А вѣдь как же он, А. С. Пушкин, сказал напѣвно, ласково, грустным эхом резонирующее в далеком прошлом, в молчаніи вѣков:

«Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русскаго слилось,
Как много в нем отозвалось!...»

И сколько имен облагораживали Москву и Москва их возвышала. Вѣдь должен же опять и русскій народ и весь бѣлый свѣт величать и прославлять Москву, как и все наше великое Царство, создавшее славу великой русской культуры. Должен, и это будет, и не может не быть! Неисчислимыми жертвами, неоцѣнимою цѣной за все вперед заплачено...

Иван Сергѣевич Шмелев — вот кто дал Москву и дух ея, и язык, и быт, и святость. Читал я о нем у другого Москвича, потомка подлинных строителей Москвы, зиждителей ея храмов и музеев и картинных галерей и иконнаго благолѣпія и несмѣтных ея богатств, Владиміра Павловича Рябушинскаго. Кто бы мог подумать, что, не зная друг друга, разные по воспитанію и происхожденію, мы с этим Москвичем только с недавних пор находимся в нѣжнѣйшей перепискѣ. Он живет в Парижѣ, бывшій сверхмилліонер — в ужасающей бѣдности и к тому же совершенно слѣпой. Благотворительное общество присылает ему изрѣдка «чтицу». Слушает мои писанія. Пишет сам ощупью, крупными буквами, широкими строками, на многих листках, чтобы сказать свое московское, изумительно-простое и неповторимое слово бодрости, столь неприсущей изгнанникам... Это он описывает, с эрудиціей только ему присущей, «Купечество Московское» в большой статьѣ, напечатаннной два года назад в Сборникѣ «День Русскаго Ребенка». В первом же абзацѣ своей статьи говорит: «В самое послѣднее время появились художественнныя произведенія, которыя, как ма-

теріал для характеристики нѣкоторых слоев московскаго купечества, должны считаться идеалом. Это книги Шмелева.»

Для меня лучшаго авторитета в этом вопросѣ не может быть, потому что в статьѣ Вл. П. он дал Москву, как оплот всей силы всероссійскаго крестьянства **первой** гильдіи. Вот именно, так многіе московскіе купцы и подписывали акты великих дѣл:

«Крестьянин Владимірской губерніи, Московскій, первой гильдіи, купец»... Так и о себѣ говорит В. П. Рябушинскій: «Мы, московское купечество, в сущности ничто иное, как торговые мужики, высшій слой русских хозяйственных мужиков.»

Но мужики эти извѣстны всему свѣту, не только Россіи: Морозовы, Третьяковы, Алексѣев-Станиславскій, Мамонтов, Щукины, да и не купцы, а великаны иного рода, как сам Шаляпин — все дѣти владимірских, ярославских, калужских, костромских. А потом, от себя прибавлю, пришли мужики-купцовать на Москву и из Сибири, с Волги, из Заднѣпровья, с Бѣломорья... Откуда пришли предки Шмелева — в своем мѣстѣ это сказано, но сам он родовой, почетный, потомственный купеческій сын, москвич.

Не казист он был на вид, не высок, не дороден, а сух; к тому-же сутул, лицо даже неправильно, но сильно, выразительно, взгляд рѣшительный, прямой, зоркій; жесты широкіе, сиповатый голос басил, когда надо, вопил тенором, когда убѣждал кого-либо или утверждал прямоту и правду. Нервный, живой, подвижной и весь московскій в словѣ; вот уж кому не надо было учиться русской рѣчи у московской просвирни. Он весь — сама Москва и всѣ ея сверкающіе ручейки богатой русской словесности, включая и невыразимое.

Впервые я встрѣтил Шмелева в Крыму; в то время там жил и Сергѣев-Ценскій, мрачный армейскій капитан, недовольный малым чином и ушедшій рано в отставку. Но блестящій писатель. А поодаль от Алушты, в Симферополѣ жил и еще большій писатель, Константин Тренев. Всѣх их троих я навѣщал, подтягивался возлѣ них, так как был я молодым и только выходил в люди. Жил Шмелев в Алуштѣ, а может быть и в Коктебелѣ — не в этом суть, но жил тогда он вмѣстѣ с женой и сыном безбѣдно. Сын, молодой Сережа, только что попал в Добровольческую армію... И

вот когда мы были уже в Константинополѣ, Сережу, бѣлаго офицера, красный Белакун, в числѣ шестидесятитысячной уже безоружной армiи, сдавшейся на милость красным, разстрѣлял... Это была неизлѣчимая рана для отца и особенно для матери и с той раною они рвались из Крыма, но не вырвались вмѣстѣ с общей эвакуацiей. Вот тогда мы им пригодились. Мы посылали им из Францiи не только продукты, но и платье и сапоги. Сапоги я послал и Сергѣеву-Ценскому, и Треневу. В «моих» сапогах Шмелев через два года появился в Парижѣ, уже перед самым моим отъѣздом в Америку. Так что бы Вы думали? Решил упрямо и настойчиво «заплатить мнѣ» хотя бы за сапоги... «Вы же спасли меня от голодной смерти и от босячества!» — кричит он, глаза на выкатѣ. Переспорил, я взял от него франки.

В Парижѣ Иван Сергѣевич оправился от удара — потери сына, рана постепенно зарубцевалась; писал и печатался много и в письмах ко мнѣ все ворчал: «Что-же вы мало пишете? Писатель должен писать и писать, а вы там какую-то землю копаете, какiя-то хижины сооружаете!...» Потом постигло его новое страшное горе — умерла жена, любимый друг, его неотлучная нянька. А потом и Гитлер пришел в Париж. Какiе-то навѣты на него писались, будто бы «сотрудничал». И, конечно, голод, во всем одинокая нужда и голод, голод... От своих копанiй канав и строенiй хижин в Чураевкѣ удалось мнѣ удѣлять и старым и малым в Европѣ. И вот получаю я письмо от Ивана Сергѣевича, полное восторгов моей «богатырской» силѣ, а главное самыя ласковыя слова не столько за банки консервов, сколько за гречневую кашу. «Вы же спасаете меня не только тѣлесно, но и духовно! Вѣдь мнѣ ничего нельзя ѣсть, у меня язва желудка и кашу Вашу я ѣм с благоговѣнiем, по ложечкѣ принимаю, как причастiе...»

Письмо его превосходная словесная вязь московской рѣчи, мѣстами даже краше, нежели в его книгах. Свободное льется слово «отхода души», моральнаго утѣшенiя. «Вѣдь я же тут теперь почти что в нѣтях обрѣтаюсь... Затравили!..».

Ах, братья, братья писатели, в вашей судьбѣ что-то лежит роковое... Уж я не писал ему всего о себѣ и о том, как и меня тут кое-какiе «борцы» за свободу годами лишали слова... Нужна была и правду богатырская сила терпѣнiя все перенести, чтобы остаться самим собою. Копанiе канав,

стройка хижин в Чураевкѣ, да часовенка Преподобнаго Сергія — помогли и, вѣрю, помогут дотерпѣть до конца... Терпѣніе Ивана Сергѣевича Шмелева помогло ему донести свой крест до кончины воистину мирной и непостыдной.

Да живет память о нем в сердцах великих множеств русскаго народа, для котораго он оставил неподдающееся тлѣнію наслѣдіе в его проникнутых Свѣтом Любви и всепрощенія книгах. Благодать Духа Святаго озаряет их цѣлительныя качества.

Алексѣй Ремизов

Отрывок воспоминаній*).

(Из статьи: «Центуріон»).

Я не сравниваю себя со Шмелевым (1875—1950) — имя Шмелев большого круга и в Россіи и среди русских за границей. Вспоминая Шмелева, говорю и о себѣ, потому, что оба мы вышли на свѣт Божій в литературу, родились и росли на одной землѣ. Так я мог бы писать и об Островском — какое уж тут сравненіе! — но колыбель наша — и у Островскаго, и у Шмелева, и у меня — Москва.

Шмелев старше меня на два года, — два года не в счет, смотрю на него как на сверстника. Оба мы замоскворѣцкіе, одной заварки: купеческіе дѣти. И домами сосѣди: дом подрядчика Шмелева и дом второй гильдіи купца Ремизова, а между нами историческій — Аполлона Григорьева (Аполлон Александрович Григорьев, 1822—1864 «органическая» критика, что по современному «экзистенціальная»).

Дѣд Шмелева гробовщик, я сын московскаго галантерейщика. Гробовщики народ степенный и молебный; галантерейщик — щеголь и балагур: одно дѣло снаряжать человѣка в путь «всея земли», другое пройтись по улицѣ или прокатиться на Кузнецкій — какія пуговицы, а гребешки! галантерейщик и парикмахер — «вѣнскій шик» с завитком и выверть.

Отец Шмелева задѣлался тузом на Москвѣ за свои масленичныя горы — понастроены были фараоновы пирамиды в Зоологическом и Нескучном. Долго потом купцы вспоминали в Сокольниках и на Воробьевых за самоваром Шмелевскіе фейерверки. А Замоскворѣцкія кумушки с Болота и Зацѣпы за блинами у Троицы-Сергія — вдруг взблестнет и совсѣм не к мѣсту, летящіе шмелевскіе огни-змѣи над Москвой и как бахнет — в глазах черно, качусь-лечу в чортову пропасть.

А когда мы переѣхали из Толмачей на Земляной вал — далеко, имя Шмелева ни Москва-рѣка, ни городом не за-

---

*) «Нов. Рус. Слово». Нью Іорк, 1954 г.

стѣнило: Серебряниковскія бани на Яузѣ — хозяин Шмелев, Шмелевскіе не промахнут, и Сандуновским себя покажут!

На одном валунѣ, под одним небом — мелкой звѣздной крупой в гулѣ кремлевских колоколов мы росли: одни праздники, святыни, богомолье, крестные ходы, склад слов, прозвища, легенды.

Я оказался бойчѣе — то ли отцовская галантерея и бумаго-прядильная фабрика моих дядей или потому, что у меня не было Горкина, того Тристановскаго Говерналя с Мѣщанской, а была воля все по-своему, в один год мы поступили в Университет: Шмелев на юридическій, с ним Семен Людвигович Франк, философ, всегда болѣло горло, я на естественный (физико-математическій), со мною позже Андрей Бѣлый — Борис Николаевич Бугаев, из современиков единственный — «гениальный».

И тут наши дороги разойдутся, чтобы сойтись по разному на общей литературной работѣ, мы снова встрѣтимся: я со своим «формализмом», Шмелев со своим словесным размахом, как устно, так и письменно.

Шмелев держался «бѣлоподкладочников» — студентов из «хорошаго общества», по преимуществу богатых, с каким-то нетерпѣливым отвращеніем сторонясь «нигилистов», как называл он по Горкину, неказистых студентов, которые участвовали в »безпорядках», пѣли «Дубинушку» и малороссійскія пѣсни. Мнѣ же, при моем рвеніи все узнать — пройти всѣ науки, всегда были ближе эти самые нигилисты: «революція — живая вода жизни». Шмелев благополучно кончил Университет, а мнѣ путь — тюрьма и ссылка.

И как это странно, Шмелев войдет в русскую литературу своим «Человѣк из ресторана» и имя его вспыхнет над Москвой ярче бенгальских огней Шмелевскаго фейерверка и заглушит плеск шаек Серебряниковских бань. Это про него в «Рѣчи» В. Д. Набоков, отец Сирина, дядя знаменитаго музыканта, написал «Нечаянная радость». Да это и наша русская традиція: «совѣсть» и «протест» русскаго писателя: Горькій, Леонид Андреев, Куприн, Шмелев.

А я вышел — и это послѣ всяких скитаній, моя первая книга «Посолонь», признаюсь, я тоже ждал себѣ «Нечаянную радость», да вскорѣ и в Московской газетѣ: Павел Зайкин о Павлѣ Зайцевѣ: «Нечаянная радость». Умные люди с сожалѣніем говорили: «все козявками занимаетесь!» — а

на Ильинкѣ свои из гильдейских: «Чего ты ерунду пишешь, пиши, как Лѣсков!»

По слогу Шмелев идет от «Питерщика» Писемскаго и сцен Горбунова, есть и от Лѣскова, но без лѣсковскаго лукаваго ущемленія — дѣдовскаго черта: какіе на Москвѣ бывали «интересные» покойники, какіе семейные разговоры, кому и чего взять послѣ покойника, до слез и колошмата. Дѣд Шмелева все замѣтит, но даже и про себя не улыбнется.

В писательском ремеслѣ каждый хочет написать как можно выразительнѣе и умнѣе. Но слѣдить за словом, как оно звучит и провѣрять глаз, вижу я или не видя повторяю готовое — это искусство слова не ко двору. Мы «таккари» и «потомули», для нас первое смысл, а как написано и как могло бы звучать по-другому, не в ущерб смысла, не спрашивается.

Шмелев далек искусству слова. Пользуясь классическими пріемами описаній, он мог по дару своему и чутью и фейерверк запустить и откроет банный кран с шипом и брызгом.

Хороша метель у Толстого, и Шмелевская хороша. Не степная, — Замоскворѣчье: затаясь слышу — ея дикій, ея вольный голос с цыганской перегудью, сквозь прищур лампадки от нетихих, грозящих образов.

«Такія событія, — говорил Шмелев всегда взбудораженный, он слѣдил за газетами, принимая к сердцу и правдошное и утку, — а негдѣ высказаться!»

«Дневник писателя» ему завѣтное, он и начал свой «Дневник неписателя». Неудачно, только и объяснимо не повторять Достоевскаго. Горьковское, «человек звучит гордо», у Шмелева «писатель». Он готов был бы повторить за Гоголем: «писатели «это огни, излетающіе из сердца народа, вѣстники его сил». Таким он себя чувствовал. И гордо повторял: «мой читатель».

Шмелев оставил свою московскую память: «Лѣто Господне» и «Богомолье». Но этого мало; его мучило — хотѣлось написать что-нибудь вродѣ «Бѣсов» Достоевскаго.

Толстовское «Не могу молчать» и Достоевскаго «пророчества» в беллетристической формѣ — и в его глазах и как он выражался.

Шмелев «во всей формѣ» русскій писатель.

В нашей судьбѣ при всем нашем различіи есть что-то общее. И не только Замоскворѣчье — колыбель Москвы.

В канун войны померла жена Шмелева Ольга Александровна — сорок лѣт их жизни, и Серафима Павловна померла в окупацію (1943 г.) — сорок лѣт нашей жизни.

В Крыму в революцію убили единственнаго сына Шмелева, и в ноябрѣ 1943 при отходѣ нѣмцев из Кіева погибла наша единственная дочь. В бомбардировку 1940-го нѣмецкая бомба саданула у моего окна, а вскорѣ американская бомба ударила в Шмелева — ни нѣмцам до меня, ни американцам до Шмелева, стало быть апокалиптическая, не иначе как Левіафан. И уж без всякаго Левіафана, в послѣдніе годы оба мы по разному вышли из литературнаго круга: в списках писателей вы не найдете имени Шмелева, и меня вычеркнули.

А. В. Карташев

РЕЛИГІОЗНЫЙ ПУТЬ И. С. ШМЕЛЕВА

И. С. Шмелев — русскій писатель. А посему, если вы беретесь за перо, чтобы что-то написать о нем, то и будьте на эту минуту в роли историка литературы. Извольте мыслить о нем, судить и писать в категоріях литературнаго цеха. Извольте причесывать писателя по принятому образцу и сами носить такую же прическу.

Этим требованіям я удовлетворять не могу. Я не литературный критик и не компетентен судить с этой профессіональной стороны писанія И. С. Шмелева. Как интеллигентный читатель я, конечно, имѣю про себя о них оцѣночныя сужденія, но лѣзть с ними в круг спеціалистов нахожу и нескромным, и просто излишним. Но И. С. Шмелев был кромѣ писательства еще и выдающійся русскій человѣк. И вот тут уже руки прочь, господа спеціалисты, литературовѣды — да что грѣха таить! — вмѣстѣ и политики! «Человѣка» мы вам на съѣденіе не отдадим. Мы разберемся в нем сами, да и вас же частично обогатим в ваших поисках за объясненіями разных идей, симпатій и антипатій автора, запечатлѣвшихся в его строках, вами спеціально и только со своей точки зрѣнія изучаемых.

Почему мы помянули в связи с литературной критикой еще и «политику»? Да потому, что у нас в русских традиціях так уже это издавна, с половины XIX в., повелось, что и литература и искусство и даже всѣ науки измѣрялись их соотвѣтствіем или несоотвѣтствіем, их «полезностью» или «вредом» для каких-то почти никогда не называемых по имени, но само собой подразумѣвающихся идеалов общественнаго и политическаго порядка. Идеалы эти «бѣлобоги»: прогресс, свобода, соціализм, революція. И контраст им — «чернобоги»: государственный консерватизм, окрещенный безпощадным именем «реакція», антисоціализм и мирная эволюція. Идеалы эти («бѣлобоги») стали абсолютно обязательными, универсальными критеріями. Малѣйшее отклоненіе от них оцѣнивалось уже как нестерпимая ересь, как морально-постыдная уступка абсолютному «чудовищу» — реакціи.

Этот суд был безапелляціонен, безпощаден. В него вложен был фанатизм религіозный. Очень тонко и мѣтко покойный Бунаков-Фундаминскій, сам лѣвый из лѣвых, русскую интеллигенцію, спаянную, скованную этим идеалистическим фанатизмом назвал «орденом». Да, это была орденская психологія. И не случайно.

На протяженіи своей тысячелѣтней исторіи русскій народ обрисовался, как народ в его моральных идеалах безспорно воспитанный православіем. Другой воспитательной силы на его горизонтѣ не было. Русская интеллигенція гордо отвергала вѣру народа, ея догматы. Но приняла, точнѣе нашла в себѣ уже готовым плод этой вѣры, христанскую мораль братолюбія. Но она истолковала ее, как народолюбіе, как служеніе коллективу. Устраняя основаніе истиннаго братолюбія, т. е. Христа, творила морализующую каррикатуру на православіе. Как острил Бердяев, вмѣсто братства во Христѣ предлагалось товарищество во антихристѣ. И все таки при всей ложной метафизикѣ и лжедогматикѣ идеализм русской интеллигенціи опирался на глубоковсѣянный в сердце народное церковью инстинкт добра и правды. В нем-то чудовище революціи и обрѣло для себя огромную жизненную силу, обманно используя его в своих цѣлях. Добродѣтель, воспитанная православіем, используется антихристом. И попробуйте теперь доказывать комсомолу, что его матеріалистическое міровоззрѣніе есть просто отсталое философское невѣжество и абсурд моральный. Все будет безполезно. Украденный у православія принцип добра и человѣчности есть цѣнность, совершенно ирраціонально влекущая к себѣ молодыя души. Мозги их напичканы падалью нигилизма, а сердца, в их наслѣдственных глубинах еще тоскуют о попранной красотѣ евангелія.

В эту раздирающую духовную антиномію пусть и в ослабленной формѣ русская интеллигенція была вовлечена искони, т. е. уже цѣлое столѣтіе. И тот же Ив. Серг. Шмелев есть «плоть от плоти и кость от костей» этого внѣрелигіознаго русско-интеллигентскаго воспитанія и самовоспитанія. «Воспитанія» — в средней школѣ, несмотря на казенную прослойку ея консервативными чехами, бывшей в духовной власти педагогов — русских интеллигентов. И — «самовоспитанія» уже в Университетѣ, когда юноша находил себѣ «вождей» среди старшаго студенчества. И тогда закусывал удила в отрицаніи всѣх других авторитетов: цер-

кви, государства, даже авторитетов науки и общественности, всякаго, кто не исповѣдывал прямо соціализма, террора и бомб. В той или иной мѣрѣ эта зараза захватывала почти всѣх. Не миновал ея, конечно, и студент Московскаго Университета И. С. Шмелев, дитя старомоднаго Замоскворѣчья, гдѣ семейный уклад конкуррировал по своему ископаемому стилю XVII в. даже с міром драм Островскаго. Дома жизнь по церковному календарю, с постами, розговѣнами, встрѣчами икон на дому и молебнами, лампадками, говѣньями. А в Университетѣ — со сходками, агитаціями, прокламаціями, демонстраціями, манифестаціями, со своим гонором и невидимыми знаками отличія; арестами, судимостью, тюремными отсидками и даже Сибирскими прогулками. Кричащій диссонанс, предолѣть который не под силу отдѣльному человѣку. Все старое бытовое клеймилось презрѣніем, стыдливо пряталось. Новое жестокосердно и властно отшвыривало старину и не без кокетства и демонстративности заполняло ея мѣсто.

И. С. Шмелев, по окончаніи Юридическаго факультета стал фабричным инспектором во Владимірской губерніи. Чиновничья служба, считавшаяся (как и медицина) наиболѣе близкой и полезной самому «народу». А «народ» идейно противополагался «государству», как будто то и другое могло и должно было жить в раздѣльности, чуть ли не во враждѣ.

От духовнаго омертвенія на этом пути спасла Шмелева еще на гимназической скамьѣ «укусившая его муха» писательства. Он уже раз напечатался у «праваго» профессора Александрова в его «правом» «Русском Обозрѣніи». Лѣвый деспотизм писательской среды осуждал Ивана Сергѣевича за компрометирующую связь с правой журналистикой, что однако прощалось, как мальчишеская «несознательность». 10 лѣт пробыл Ив. Серг. чиновником — молчальником. Наконец «не вынесла душа поэта». Как птичкѣ пѣвчей нужно пѣть — так писателю писать. Теперь Ивана Сергѣевича приняла в свою среду и понесла на руках уже доминирующая лѣвая писательская среда. В тѣ годы он себя еще не осознал до конца, и пѣл принятыя пѣсни с легкостью, непримѣтно приближаясь, однако, к своим специфическим темам. В «Человѣкѣ из ресторана» он просто разсказал о внутреннем моральном благообразіи простого человѣка, взращеннаго традиціонно — народным православным

духом. Но лично-интимным письменным откликам из этой ресторанно-московськой среды, писатель «попал в точку». Он взволновал людей этого типа правдивым обнаруженіем их молчаливой, никому неинтересной, смиренной русской человѣческой личности.

Но вот прошел шок и кризис для всей Россіи и для нашего писателя. Стряслась зловѣщая революція. Временное правительство выпустило на свободу разом всю политическую Сибирь. Этим вызвало в столицы профессіональную элиту революціи, которая мгновенно стала ея штабом и именно крайним, большевицким штабом. Обезумѣвшіе от радости московскіе писатели кликнули клич и «всем міром» бросились навстрѣчу торжествующим героям революціи, ѣдущим цѣлыми поѣздами из Сибири. И. С. Шмелев был в этой писательской толпѣ, доѣхавшей по меньшей мѣрѣ до Челябинска, если не до Омска. Хаос безтолковых встрѣч и взаимных рѣчей. Встрѣчи непрерывно возрастали. Все повторялось на каждой станціи. Наступало одуреніе и физическое, и моральное. Начинало не только тошнить, но и ужасать. Все громче и откровеннѣе раздавались рѣчи клокочущей, нечеловѣческой мести. Это еще было понятно со стороны озлобленных ссыльных. Но их превосходили в безпощадности рѣчи встрѣчающих, внутрироссійских рабочих и каких-то интеллигентов. Не прообраз, но уже сам авангард большевизма выпустил когти. Иван Сергѣевич был потрясен. Не имѣл ни подготовки, ни призванія политически теоретизировать. Но своим здравым смыслом, подлинным художественным чутьем отвратился от ужаснаго лика заглянувшей ему прямо в глаза долгожданной и легкомысленно накликаемой революціи. «Ах, вот она какая, эта богиня революціи! Ах, вот это что! . . .»

Об этом первом откровеніи ему лика революціии Иван Сергѣевич уже здѣсь, в началѣ эмиграціи дѣлал публичный доклад. Но напечатал ли его — я не увѣрен. Наша антикоммунистическая пресса не любила и не любит заглядывать в духовныя глубины революціи, в расчетѣ на позитивизм и раціонализм читателей всѣх лагерей, с пренебреженіем отбрасывающих всякую «мистику», как ненужный хлам. А между тѣм без этой так называемой «мистики» — люди добровольно обрекают себя на плоскость и слѣпоту в самом главном: в оцѣнкѣ «всѣх и вся» не разумом только, не ходячими господствующими мѣрками, а своей совѣстью.

И еще скажу конкретнѣе, православной русской совѣстью. Мнѣ скажут: да гдѣ Вы ее взяли эту православную русскую совѣсть у обасурманившагося, антирелигіознаго интеллигента?» Вот в том то и секрет. У интеллигента — басурмана дѣйствительно в теоретическом сознаніи живет только вражда к религіи и церкви, а в невольной (по природѣ человѣка) этической оцѣнкѣ явленій, как я уже говорил, нѣт другого мѣрила, кромѣ всѣяннаго в него, наслѣдственнаго евангельскаго критерія добра и зла.

У Ив. Серг. Шмелева послѣ его духовнаго шока от начала революціи 1917 г., было на что опереться, чтобы не растеряться, не надломиться духовно. Это заброшенное им, недооцѣненное сокровище — его бытовое, семейное, замоскворецкое православіе. Подавленный кошмаром совѣтчины, умираніем старой Россіи в оцѣпененіи голода, поэт-художник переживал в душѣ, как невѣдомо откуда свалившійся эсхатологическій кошмар и писал свое «Солнце Мертвых». Но это только отталкиваніе от ада. А гдѣ же возврат если и не в рай, то хотя бы и на грѣшную, но все же милую, человѣческую землю? У потерявшаго вѣру в интеллигентскую премудрость И. С. Шмелева, еще не было никакого отвѣта. Разстрел красными сына И. С. Шмелева, молодого офицера, объективно клал непереходимую грань между ним и этим новым татарским игом.

Ленинскій НЭП дал крестьянам «передышку» подкормиться и накормить всю Россію, а писательской и профессорской братіи — неожиданную «выкидку» в 1922 г. за предѣлы Россіи нѣскольких десятков литературно извѣстных интеллигентов, вредных для дѣла большевизма. Ряд писателей пред тѣм всякими правдами и неправдами обивавшій пороги Комиссаріата Иностранных дѣл, хлопоча о выѣздѣ за границу для разных «леченій», вдруг огулом был собран в один кулак из нѣскольких десятков и разом выброшен в Европу. Попал сюда и смиренно хлопотавшій о выѣздѣ И. С. Шмелев.

Очутившись в Парижѣ без разговорнаго знанія европейских языков, без призванія к политическому партизанству, Ив. Серг. мог держаться только за свою профессію писателя — художника. Но что именно живописать, чѣм «залюбоваться» и самому и чѣм «зачаровать» читателя? Мало вѣчнаго романическаго стрежня. Какой его обвить «плотью и

кровью? «Благоденственное и мирное житіе» для русских кончилось. Кругом души «скорбящія и озлобленныя, милости Божіей и помощи требующія»... Но чѣм помочь, когда, по выраженію Апокалипсиса, сам «и жалок и бѣден, и нищ, и наг»? Совѣт и помощь Ив. Сергѣевичу пришли из самого близкаго и надежнаго источника. К счастью для него, ангел-хранитель его жизни, Ольга Александровна, была с ним. Она указала ему вѣрную дорогу, потихоньку очистила от пыли божницу, заправила остывшую лампадку и засвѣтила ее. Гидом на этом пути она была от начала. Не странно ли, что либеральный, хотя и «замоскворѣцкій» студент Московскаго Университета свое свадебное путешествіе, по желанію невѣсты, а теперь жены, совершает на Валаам в монастырь, куда люди ѣздят на богомолье? Ольга Александровна — москвичка, той же низовой классовой среды, ученица рисовальной школы, шотландка по одной линіи своего родства и с этой стороны наслѣдственно, расово религіозная. Перед путешествіем ее потянуло еще поговѣть и благословиться у старца у Троицы-Сергія в Черниговском скиту, гдѣ могила схимника Климента (Константина Леонтьева). Народу было до отчаянія много. Хоть рукой махни и уходи. А все таки пережидали, подошли. Старец благословил, одобрил план начала общей жизни. Молодожены в первый раз пересѣкли вперед и взад Сѣверную Пальмиру, но как «московская деревенщина» не тронулись ея строгим имперским величіем. А вот Валаам дерзновенный студентик немедленно описал и быстро выпустил первой своей книжкой. Уже здѣсь в эмиграціи, в 30-х годах, валаамцы зазывали к себѣ в Финляндію в гости Ив. Серг. и во всяком случаѣ просили приготовить ко 2-му изданію его старыя воспоминанія о Валаамѣ. Он охотно это сдѣлал и внес в новое изданіе необходимыя поправки. Вѣдь писал он это в первый раз еще будучи зеленым мальчиком. Такой непопулярной для интеллигента была в началѣ сама писательская дорога И. С. Шмелева. Но это-то и оказалось предзнаменованіем грядущей самостоятельности, оригинальности, неподражаемости творчества будущаго эмигрантскаго писателя. Ея не задушили дружескія, коллективныя объятія безрелигіозной московской литературной среды.

Был еще другой возбудитель для религіозных интересов Ив. Серг. — это мощный отпрыск и плод тридцати послѣдних лѣт XIX в., одиноко сіявшаго свѣтила религіозно-фило-

софской мысли — Вл. Соловьева. За два десятилѣтія до революціи как-то нежданно развернулся, вдруг взял силу, даже зацвѣл до сих пор еще неувядшими цвѣтами порыв оригинальной русской учено-университетской философской мысли. По началу органом его был Гротовскіе «Вопросы философии и Психологіи», гдѣ продолжал печататься и сам корифей — Соловьев. За ним возвысили свои голоса братья Трубецкіе, Булгаков, Лосскій, Аскольдов, Франк — вплоть до современнаго нам о. В. Зѣньковскаго.

Литературный отпрыск мощнаго толчка Соловьева безспорно проявился и у публицистов, и поэтов модернистскаго толка: Мережковскаго, Минскаго, Розанова. От них пошла мода на Религіозно-Философскія Общества.

Но ни чистая философія, ни литературный модернизм, ни тѣм болѣе модернизм религіозный не задѣвали вниманія Ив. Сергѣевича. Он оставался просто признанным московским писателем, вездѣ принятым, без выкрутас, без «декаденщины». Вся соловьевская школа, модернизирующая религіозность прошла мимо Ив. Сергѣевича. Ни ума, ни сердца не тронула, даже ни капли не заинтересовала его «замоскворѣцкую» душу. Ив. Сергѣевич признал, что все интеллигентское позитивистическое міровоззрѣніе, которое он предпочел в Россіи всему другому за кажущуюся трезвость и здравомысліе, оказалось на дѣлѣ гимназической фантазіей, трясиной, провалом в бездну. На что же опереться? — «На замоскворѣчье», шептал тихій голос Ольги Александровны. Без нажима, без отравы злой критики. «Вспомни, как было х о р о ш о!» Хорошо не в смысле совершенства, а хорошо и в убогости. «Хорошо» в смыслѣ нравственном, в смыслѣ эстетическом, в смыслѣ духовнаго религіознаго б л а г о о б р а з і я! И какое же настало теперь б е з о б р а з і е! Просто безспорное без разсужденій «на вкус, на ощупь» гнусное, отвратительное безобразіе!

Так діалектически (от противнаго) вниманіе повернуто к «доброму старому времени». Оно уже все равно запѣло в Шмелевѣ по контрасту с чужбиной все громче и неотвязнѣе пѣснь тоски и вмѣстѣ духовной радости о милом невозвратном прошлом. Ольга Александровна обратила вниманіе Ив. Сергѣевича на очень стильную в простонародном смыслѣ, неустанным ручейком журчащую болтовню старой нянюшки, вывезенной из Россіи. Поселились Шмелевы в Севрѣ в части большой квартиры семьи Карповых. Комната

прислуги и кухня были рядом. При отворенных дверях всѣ разговоры нянюшки с молодой ея товаркой были слышны. Ольга Александровна привлекла к этому вниманіе Ив. Серсѣевича. Иван Сергѣевич попробовал прислушаться и убѣдилися, что это цѣлая поэма быта. Отсюда родилась его «Няня из Москвы». Картина еще живого прошлаго, на наших глазах, переливающагося в эмиграцію.

Но Ив. Сергѣевича прошлое приковало само по себѣ. В прошлом громко зазвучала бытовая религіозность — источник «благообразія», высшей красоты народной жизни. Ив. Сергѣевич почувствовал острую потребность возвыситься над своей обывательской скудостью точных знаній богословских и литургических. Требовательный к себѣ художник знал, что надо писать об этих вещах грамотно, не смѣша людей церковных ошибками в грамматике и синтаксисѣ церковно-славянскаго языка. Наши литераторы стыдятся сдѣлать малѣйшую ошибку во французской или англійской фразѣ, но почти без исключенія всѣ обязательно перевирают церковно-славянскія цитаты из библіи или богослуженія. Можно составить длинный и любопытный список. Ив. Сергѣевич зубами вцѣпился в штудированіе литургических текстов. Видимо душа его на них отдыхала, выздоравливала от «бѣлокровія» за долгій період безцерковности. Наша академическая библіотека много послужила писателю. Перетаскал я ему десятки томов, начиная с простого Часослова. Сравнительно скоро пришла Ив. Сергѣевичу на помощь героическая печатная продукція героическаго архим. Виталія в Карпатской Ладоміровой. Ив. Сергѣевич обзавелся постепеннно и Октоихом и Минеями и Великим Сборником. Когда он напал на той дорогѣ, по которой его повела Ольга Александровна, на серію «Лѣта Господня», он «нашел самого себя». Это самый важный рѣшающій момент в біографіи каждаго даже маленькаго интеллектуальнаго работника. Тѣм болѣе это было важно для специфическаго таланта, какой Бог дал замоскворѣцкому Ванѣ. Шмелев в этой области нашел себя — оригинальнаго, настоящаго, пореволюціоннаго, эмигрантскаго, исторически увѣковѣченнаго — Шмелева. Он усердно перечитывал мнѣ в процессѣ писанія всѣ мѣста, касающіеся церковнаго типикона и богослужебнаго исполненія, с благодарностью принимая всѣ совѣты и поправки. И дѣлал это не только пользуясь случайными встрѣчами, но и путем переписки, торо-

пясь, с нетерпѣніем. Он просил меня сообщать ему об особо интересных службах у нас на Сергіевском Подворье и брал на себя подвиг дальних поѣздок. А мобилизовался он вообще неохотно. Я помню, как Ив. Сергѣевич, «видавшій разные церковные виды», не невѣжда в этом опытѣ, был все-таки удивлен и восхищен нашим соборным исполненіем чина Похвалы Богоматери на 5-ой седьмицѣ четыредесятницы, с 6-ю круговыми кажденіями под протяжное и 7 раз повторяющееся пѣніе «Взбранной Воеводѣ»... особым величественным напѣвом, под пѣніе (а не чтеніе) всѣх 12 х 12 «радуйся» особым, сентиментальным южно-русским напѣвом, принятым и в Москвѣ. Заслуга введенія такого уникального исполненія этого чина у нас на Подворьи принадлежит совмѣстной музыкальной реставраціи М. М. Осоргина с преосвященным Сергіем Пражским (Увезен при оккупаціи Вѣны в СССР и скончался 1953 г. в званіи архіепископа Казанскаго).

Оцерковляясь естественно и плодотворно через воскрешеніе в себѣ великаго духовнаго сокровища православія: — быта, пронизаннаго и украшеннаго богослужебным культом, И. С. Шмелев не мог не платить тяжелую дань своему долгому періоду умственнаго скепсиса и религіознаго агностицизма. Переработать этот свой теоретическій аппарат и сгармонировать его с вѣрой сердца не так-то легко. И мы «спецы богословія» проходим систематическими циклами эти муки сомнѣній и вопрошаній: один полудѣтскій цикл до 15 лѣт (духовное училище), другой семинарскій, нерѣдко катастрофическій — до 20 лѣт, третій академическій — до 25 лѣт. И дальнѣйшія «исканія» уже в теченіи всей жизни. Как же не мучиться богословски безпомощному интеллигенту в гордой, наступательной атмосферѣ нашей безрелигіозной жизни? Не подходил к Ив. Сергѣевичу мой юный опыт, мои «герои-книги». Зіяніе между интеллектом и сердцем у него было гораздо шире, безнадежнѣе. Не «убѣждали» его Апологетики: ни Лютард, ни Рождественскій, ни сочиненія В. Д. Кудрявцева. Не дошел до ума и сердца и наш «великій» Несмѣлов («Наука о человѣкѣ). А все-таки над Несмѣловым И. С. покорпѣл, поломал голову. Странным образом не порадовался И. С. и Джемсу — «О разнообразіи религіознаго опыта». Все было что то «не то», чего он искал. Как женскому уму, так и уму художника, нужен какой то не наш мужской, раціональный подход к вещам. А все-же

при каждой почти встрѣчѣ И. С. впивался в меня с этими «апологетическими» допросами, не то раздражаясь на мою вѣрующую «наивность», не то завидуя ей.

Когда в послѣднее десятилѣтіе его жизни И. С. дерзнул (впрочем это с моей точки «дерзнул») дать художественный отвѣт на вопрос — как интеллигенту скептику принять вѣру церкви? — он уже чувствовал, что он сам не в силах дать на него отвѣт ни от семинарской, ни от академической, ни от профессорской премудрости, но что отвѣт будет дан от простоты сердечной, от чар Евангелія и чар святости. «В «Путях небеоных», которыя И. С. нам с женой прочитывал во всѣх варіантах, он десятижильнаго раціоналиста, профессора Вейденгаммера отдал на перелом в мягкія жернова чуждой всякой умственной ухищренности Даринькѣ. И начал издали-издали подводить этого «слѣпорожденнаго» к открытію у него глаз вѣры. Становилось страшно за художника и за человѣка. Гоголь сошел с ума. Достоевскій и Толстой «изнемогли». Не спас святой Алеша братьев, ни Ивана ни Димитрія, не возродился на каторгѣ Нехлюдов. Шмелеву ли спасти Вейденгаммера? Чутье подсказало Ив. Сергѣевичу не торопиться с отвѣтом. И он прервал писаніе второй части, а первую, ему посильную и удавшуюся, не задумался напечатать. Чутье и рѣшеніе правильное. Многоточіе поставлено там, гдѣ три титана потерпѣли неудачу... Воспѣвая евангельскую простоту Дариньки, Ив. Сергѣевич расписался в безсиліи своего развороченнаго и запущеннаго в неустройствѣ интеллигента разрѣшить теоретически загадку обращенія. «И не такія царства погибали» — пророчествовал Побѣдоносцев о Россіи. И не такіе умы и таланты изнемогали — можем сказать мы в оправданіе Ив. Сергѣевичу. Не доводя свою Дариньку до неизбѣжности чудотворчества, Ив. Сергѣевич «благую часть избрал!...».

Потеряв в 1937 г. своего ангела-хранителя, Ольгу Александровну, И. С. во всѣх смыслах растерялся. И так до конца уже полностью сложиться не мог. Друзья устроили ему для духовнаго освѣженія лекціонную поѣздку в русскую среду Эстоніи и Латвіи. Это был тріумф для писателя, как бы новорожденнаго за его старорусскую романтику для эмиграціи. Но тѣм горше было для него возвращеніе в свой опустѣвшій угол. Жить осиротѣлому в прежнем его жилищѣ было для И. С. тяжко. Лѣтом 1937 г. до февраля 1938 г. мы уѣзжали в Афины. Ив. Сергѣевич рѣшил этим восполь-

зоваться, переселиться к нам, пока найдется новая подходящая квартира. Так и сдѣлали. И. С. пожил у нас со своими столами и шкафами в одиночествѣ мѣсяца четыре. Нашлась подходящая квартира (rue Boileau, XVI), оказавшаяся послѣдней в его жизни. Он нѣсколько времени занялся «свиванiем себѣ гнѣзда». Но успокоиться на этом не мог. Простой человѣк на его мѣстѣ пошел бы в монастырь. Ив. Сергѣевич сознавал это и не раз откровенно жалѣл, что он далеко к этому не приспособлен. Но попробовать «приблизиться» к монастырю он опредѣленно захотѣл. Поэтому откликнулся на приглашенiе иноков-печатников Iово-Почаевскаго монастыря в Карпатской Ладомiровой — пожить у них гостем-богомольцем. На счастье к тому моменту духовныя чада творца обители, архим. Виталiя, вызваннаго уже на епископство в Америку, успѣли создать на принадлежащей обители горушкѣ новенькiй домик-гостинницу. Тут и поселили Ив. Сергѣевича, обслуживая со всѣм усердiем. В 1938 г. праздновалось 950-лѣтiе крещенiя Руси. Меня вызвали в Прагу читать юбилейную рѣчь. Я был рад случаю использовать приближенiе к Карпатчинѣ и заглянуть в этот трогательный по привязанности к русскости и Православiю уголок 1000-лѣтней Руси. Скучно, одиноко там было Ив. Сергѣевичу. Он себя провѣрил: в монастырѣ ему не мѣсто. А вот **«около монастыря»** — другое дѣло. Когда потянет, пошел, поговѣл, помолился, а потом опять — в свое гнѣздо. Гвоздем засѣла у него в головѣ эта полудѣтская мечта.



Грянула война. Нѣмцы оккупировали Францiю. Сами французы раздѣлились. Не один маршал Петэн взял на себя жертвенный подвиг коллаборацiи. Часть коллаборантов-французов пошла в работу ради куска хлѣба: не умирать же с голоду? Вѣдь и голод, и смерть стали ежедневной наглядной реальностью. Немудрено, что и русскiе пошли в работу по голодной неизбѣжности. Но, как и у французов в этот момент, у русских нашлись коллаборанты и по увлеченiю: — повѣрили в силу и антибольшевизм нѣмцев и думали, как в свое время Гарибальди: «хоть с чертом, но за Италiю!» Представительными фигурами этого увлеченiя на русской сторонѣ были ученый умник, генерал-профессор Головин и романтик бѣлой борьбы генерал-романист Краснов. Головы вскружились не только у маленьких па-

рижских шофферов, уже видѣвших своими глазами, как от Прибалтики до Кубани населенiе радостно встрѣчало «освободителей», кто бы они ни были... («хоть с чертом!...») Головы вскружились и у архiереев, и у архимандритов! Даже у благочестивых пасторов. Нас запрашивали о смѣтѣ: сколько будет стоит в русской типографiи, при готовой бумагѣ изданiе десяти тысяч Новых Завѣтов на русском языкѣ для раздачи духовно голодающему населенiю? Из Новгорода, Пскова, Двинска, Минска, Кiевщины и Крыма шли вѣсти о возстановленiи церквей. Двѣ газетки на русском языкѣ, одна Берлинская, другая Парижская шумѣли об этом. Вернувшiеся с территорiи Россiи бѣлые офицеры убѣждали И. С. не только писать, но и поѣхать в Россiю с живым словом агитацiи. Рисовалось возстановленiе духовной свободы по крайней мѣрѣ в юго-западной части Россiи. Из состава «власовцев» к И. С. под большим секретом являлись молодые красные офицеры из самой Москвы. Всѣ безоговорочно привѣтствовали свое освобожденiе, все по принципу «хоть с чортом!» Это могут понять только сами видѣвшiе большевицкiй ад и страдавшiе в нем. Никто в мiрѣ этого не понимает, в том числѣ и сами русскiе, не бывавшiе в СССР-iи. Обольщенный надеждой на агитацiонную поѣздку в Россiю, Ив. Сергѣевич «пока» приглашен был писать в парижской русской газеткѣ для внутрироссiйскаго освобожденнаго читателя. Он написал нѣсколько фельетонов, изображающих идиллiю былой Москвы. На прямую политическую публицистику Иван Сергѣевич вообще был неспособен. Русскiе крымчаки из добрых старых знакомых затѣяли в Парижѣ панахиду по всем россiйским жертвам большевизма, всѣм разстрѣлянным и умученным. Ив. Сергѣевича «взяли за сердце»: вѣдь среди разстрѣлянных в Крыму и его единственный сын Сережа!... Он поѣхал на панихиду. Вот максимум его коллаборанства.

Но месть послѣдовала вскорѣ. Когда кровавый пузырь Гитлеровой фантасмагорiи лопнул и разсѣялся без остатка, начался массовый отлив и новых ДП, и старых эмигрантов в сытую Америку. Тогда и Ив. Сергѣевич пренаивно возмечтал перенестись туда же. А так как Карпатское Iово-Почаевское монастырское братство переселилось со всѣм своим аппаратом в Джорданвилль, то и Шмелев вернулся к своему упорному плану: жить там около монастыря и «втягиваться» в его жизнь постепенно. Но... «не тут-то бы-

ло!» Путь ему был закрыт. Не иное, конечно, освѣдомленіе, как исходящее из русской среды, заклеймило его «коллаборантом». Положеніе «рака на мели». И. С. начал вянуть и слабѣть. Несмотря на притекающее изобиліе пищи — мало ѣл, перегружался химіей лекарств, увядал от неподвижности в своей квартирной клѣткѣ, надолго слег, перенес благополучно операцію. И для возстановленія сил опять выбрал мѣсто отдыха в своем упорно-монастырском стилѣ: в женском монастырѣ в Бюсси, недалеко от Парижа, гдѣ русскія монахини принимают своих православных соотечественников в небольшом количествѣ на пансіон. С восторгом и новыми надеждами ѣхал туда Ив. Сергѣевич под ласковым іюньским солнышком. Через 2—3 часа по прибытіи, послѣ перваго же ужина, нежданно для себя и для добродѣтельных хозяек, «отошел ко сну» вѣчному. «На порогѣ монастырском», как мечтал...

И. А. Ильин

ХУДОЖЕСТВО ШМЕЛЕВА

«Из глубины взываю к Тебѣ, Господи»! (Псалом 129).

1.

Знаем, оно доступно не всѣм. И в этом нѣт ничего страннаго или удивительнаго. Таков общій закон художественнаго творчества и воспріятія: только тот воспринимает мастера и его созданія, кто обладает для этого достаточными внутренними силами и умѣет их настраивать и перестраивать по требованію художника. Еще древній мудрец Гераклит Эфесскій учил о том, что огонь постигается огнем, а дым испытывается ноздрями. И мы не удивляемся, когда видим, что волевой гигант Шекспир не постигается современными безвольными актерами и изображается ими плохо. Мы не изумляемся, когда слышим от самого Чехова, что он не находил в себѣ духовнаго органа для поэзіи графа Алексѣя Константиновича Толстого: ему все казалось здѣсь «оперным» и аффектированным, пѣніе поэта не пѣло ему и глубокомысленныя прозрѣнія поэта не говорили ему ничего. Мы не негодуем, когда узнаем, что Александр Блок, этот туманный и расплывчатый фантазер, застрявшій в провалах личнаго эротическаго опыта и совершенно утратившій критерій добра и зла, не цѣнил поэзію Пушкина и не отзывался на нее. Все это и многое другое, подобное этому, естественно и неизбѣжно. Тютчев был прав: «пойми, коль можешь, органа жизнь глухонѣмой»...

Именно в этом порядкѣ мы не удивляемся тому, что цѣлый ряд наших современников не находит в себѣ органа для поэтической прозы И. С. Шмелева. Человѣку с «деревянной» или «окостенѣвшей» душой; самодовольному и бессердечному педанту; человѣку «об одной колеѣ», неспособному отзываться на зовы глубокаго и богатаго духа; партійному недоумку, ищущему повсюду своих схем и польз, — произведенія Шмелева могут остаться совершенно недоступными. Здѣсь нужен читатель с открытой душой; с живым сердцем; способный созерцать, любить и негодовать;

читатель с послушным и гибким актом, довѣрчиво отдающій художнику всѣ свои внутреннія силы... Шмелева надо не только серьезно и отвѣтственно читать, довѣряя его стилю и образу, но его необходимо **предметно созерцать,** принимая его по существу и всерьез. Человѣк, имѣющій для искусства или в частности для художественной литературы — холодное и отвлеченное воображеніе и предоставляющій художнику **играть** этим воображеніем — вряд ли почувствует и полюбит Шмелева; но он не почувствует и не полюбит и Э. Т. А. Гофмана, и Достоевскаго, и многое у Лѣскова... За то он предпочтет эффектно-декоративные романы Мережковскаго, горькую эротику Бунина и элегантные протоколы Алданова. Может быть лучше, если такой человѣк совсѣм не будет читать Шмелева, но зато воздержится и от сужденій о его произведеніях. Ибо кому же интересно слушать об огненных и трепещущих страницах Шмелева такия духовно-скопческія сужденія, как напримѣр: «это лубок»; или «это насыщено излишней страстностью»; или «это есть національзм, а потому и имперіализм»...

Напротив тот, кто отдает искусству и каждому воспринимаемому художнику всю свою личность, — сердце, волю, воображеніе, мысль, словом всѣ силы своей души, как послушную, лѣпкую и держкую глину, «вот, мол, я, возьми меня, твори и лѣпи», — тот скоро почувствует, что в произведеніях Шмелева дѣло идет не болѣе и не менѣе, как о **самом смыслѣ человѣческой жизни,** о нашей судьбѣ, о жизни и смерти, о послѣдних вопросах и о **священных предметах;** и при том (что особенно важно) — не только о судьбѣ **других** людей или о судьбѣ описываемых «героев», но о собственной **судьбѣ самого читателя.** Откуда берется это чувство, — читателю может быть долго будет непонятно, необъяснимо; но глубокая, «кровная» вовлеченность в ткань разсказа, в событія и слова, раз появившись в его душѣ, уже не исчезнет. Если же он попытается объяснить себѣ эту вовлеченность и захваченность, то первое на что он сошлется и на чем остановится — будет **язык** Шмелева, его стиль, выражаясь философски — «эстетическая матерія» его искусства.

2.

Язык Шмелева приковывает читателя обычно с первых же фраз. Он не проходит в нашем сознаніи спокойной и чинной процессіей, как у Тургенева, и не развертывает свою

бережливо найденную мозаику, как у Чехова, и не бѣжит безразлично, подобно безконечному приводному ремню, как у большинства французских прозаиков. Если читатель не отдается ему, не наполняет его смыслом и чувством своей души, если он пробует читать его подряд так, как играются гаммы на рояли, то он скоро замѣчает, что многое остается ему непонятным, что он не в состояніи слѣдить за разсказом и его развитіем. Ему начинает казаться, что перед ним какіе то клочки и обрывки... «Что это значит? Откуда это? К чему? Какая здѣсь связь»?...

Пусть же кто нибудь попробует прочесть такія строки **безразлично,** не наполняя слов и фраз ни чувством, ни вообраafженіем, ни волею... «Правда, многие меня знавали, как, бывало, дѣла вертѣл... а теперь один, как перст, гнѣздо разорено... По Россіи теперь таких!... Какія превращенія видал... Не повѣрить, что у человѣка в душѣ быть может: и на добро, и на зло. А то все закрыто было. Бо-ольшое превращеніе... на край взошли!» («Про одну старуху», стр. 7). — Или еще: «Я человѣк мирный и выдержанный при моем темпераментѣ — тридцать восемь лѣт, можно так сказать, в соку кипѣл, — но послѣ таких слов, как ожгло меня. С глазу на глаз я бы и пропустил от такого человѣка... Захотѣл от собаки кулебяки! А тут при Колюшке — и такія слова!» («Человѣк из ресторана», стр. 1).

Оба эти отрывки взяты из самаго начала разсказа; вторым отрывком начинается цѣлый роман...

Читатель непремѣнно должен наполнить эти слова энергіей своей души, живым воображеніем, а — главное — горящим чувством; тогда он увидит, что эти слова как бы срываются со страниц книги и впиваются ему в душу, превращаясь в восклицанія или выкрики живой, страдающей души; или так, как если бы клоки живого человѣческаго страданія, долго молчавшаго и вдруг заговорившаго, завопившаго, были пришпилены словами к страницѣ. Здесь надо «во-образить» себя в данный образ; вчувствоваться в каждое слово и чѣм глубже, цѣльнѣе и острѣе будет такое чтеніе и вчувствованіе, тѣм вѣрнѣе будет воспринято то, о чем пишет Шмелев.

Отдаваясь этому языку и стилю, вы чувствуете, что он захватывает вас и заставляет «бѣжать» вмѣстѣ с собою, нестись, спотыкаться, вскакивать, опять нестись, взвиваться, обрушиваться и вдруг обрывать... от недостатка воздуха...

В сущности говоря, язык Шмелева **прост,** он всегда естественно народен, часто простонароден. Так говорят или в русской народной толщѣ, или вышедшіе из простого народа полу-интеллигенты... С этими то маленькими, то большими «неправильностями» и искаженіями, которые никак не переводимы на другіе языки, но которые в то же время так плавно закруглены, так мягки, так сочны в народном произношеніи; и вдруг этот сочный, необычайно изобразительный язык дѣлается жестким, сосредоточивается и обнаруживает крѣпость, ядреность, гнѣвность; тогда он идет лаконическими бросками, швырком, он рѣжет, колет, загоняет гвозди, бросает афоризмы, точные, мѣткіе, незабвенные... с тѣм, чтобы опять распустить морщины словеснаго гнѣва и неумолимой остроты и вновь излиться в ту непередаваемую русскую «пѣвучую» «желанность», в которой уже столько вѣков купается русская душа и о которой иностранцы, не знающіе русскаго языка, не имѣют ни малѣйшаго представленія... И все это течет, сыпется и поет; то и дѣло загорается такой стихійной непосредственностью, развертывается таким непрерывным, несмотря на свою эмоціональную разорванность, самотеком, как если бы это была не «литература», а подслушиваемая вами реально живая, словесно звучащая дѣйствительность. И, строго говоря, так это и должно быть. Плоха та литература, которая не позволяет вам забыть ее «литературность»; несовершенна та живопись, которая позволяет вам помнить о том, что вы «разсматриваете чью-то картину»; и музыка не на высоте, если она не дает вам чувства новой, подлинной, самостоятельной объективной реальности.

Но если читатель начнет читать Шмелева, так, как надлежит, позволяя его словам вылѣпить в душѣ то, что они хотят, и если он станет вживаться в них, созерцая скрытые в них образы и предметы до самой глубины, то он скоро замѣтит за этим бытовым словесным «простодушіем» цѣлую **летучую стихію глубокочувствія и глубокомыслія,** то сгущающуюся, то разрѣжающуюся, а иногда укрытую в нежданно-естественной игрѣ слов... И не то — это игра слов, не то лучик прорвавшегося юмора, не то сдержанный вопль страданія... Это произносится всегда с большою наивною серьезностью, так как если бы говорящій не допонял или перепонял простое словечко; но именно вслѣдствіе этого читатель чувствует, что это рождено из глубины и что за

фонетическою простотою сверкнуло міросозерцающее или прямо религіозное глубокомысліе. Ибо все это родится из глубокаго и подлинаго страданія, иногда прямо из задохнувшагося отчаянія.

Вот женщина жалуется на незаконный обыск, а комиссар ей: «Не имѣю права. У нас теперь **прикосновеніе личности.** А пустяками не безпокойте, у нас дѣла спеціальныя» (Степное Чудо, стр. 58).

«За старуху вступаются — нельзя так над **стариннымъ** человѣком». (Про одну старуху, стр. 22). «А старуха в ноги ему — прости, сынок, Христа ради... сирота я слабая, **безначальная**... погибаю» (там же, стр. 33).

Вот пляшет старый пастух, по провинцу «Хандра-Мандра»: «У него разошлись всѣ спленки и хрящички, выламывался на травкѣ, загребал с земли рваной шапкой, путался и хрипѣл, притоптывая, и конь копытом землю бьет — Бѣл камушек вышибает»... («Розстани». Сборник «Родное». стр. 86).

«Быстрѣй развертывается клубок — и сыплется из него день ото дня чернѣе. Видно, конец подходит. Ни страха, ни жути нѣт — **каменное взираніе.** Устало сердце, страх со слезами вытек, а жуть забыта». «Дождь ли, вѣтер — я хожу и хожу по саду, **захаживаю думы»** (Солнце мертвых, 156).

А вот Гришка, дворник, разсуждает о любовном влеченіи: «Это дѣло надобное. Кажная женщина должна... Господь наказал, чтобы рожать. **Ещество закон.** Что народу ходит, а кажный вышел из женщин на показ жизни! Такое ещество». «Нѣт от этого не уйдешь. От Бога вкладено, никто не обойдется. Кажный обязан доказать ещество. А то — тот не оправдался, другой не желает, — все и прекратилось, конец. Этого нельзя. Кто тогда Богу молиться будет? О-чень устроено!» (Исторія любовная, стр. 98—99).

Слова просты, иногда безконечно просты. А при чтеніи их душа чуткаго читателя начинает напряженно прислушиваться и всматриваться, как в аспидную тучу на горизонтѣ, гдѣ сверкнула далекая зарница и послышался рокот приближающагося грома. И, раз научившись слышать далекое и внимать глубокому, такая душа научается вѣрно читать произведенія Шмелева.

В только что приведенных мною примѣрах игры словами — Шмелева можно и должно сравнивать с таким признанным мастером русскаго языка, как Лѣсков. Но у Лѣс-

кова в этой фонетически-смысловой игрѣ встрѣчается иногда надуманное, искусственное, такое, что кажется нѣсколько натянутым остроуміем, напр. «ажидація» — в смыслѣ напряженно-взволнованнаго и длительнаго ожиданія, или «пропилеи» — искусное выпиливаніе по дереву. Лѣсков владѣл первобытными, наивно-творческими истоками русской рѣчи, как рѣдко кто; но подчас затѣвал предметно-немотивированную, нарочитую игру с фонетически-смысловыми группировками звуков (напр. в «Сказѣ о тульском лѣвшѣ и стальной блохѣ»). Язык Шмелева свободен от этой игры. Чѣм первобытно-простонароднѣе его язык, тѣм наивнѣе, серьезнѣе, непосредственнѣе языковая и повѣствовательная установка его разсказчика, а он любит вкладывать свой разсказ в уста или главному герою своего разсказа («Человѣк из ресторана», «Исторія любовная», «Свѣт разума», «Сила», «На пеньках», «Няня из Москвы», «Марево»), или второстепенному очевидцу («Про одну старуху», «Свѣчка»), так как если бы и писатель и читатель слушали наивнаго и взволнованнаго разсказчика, из чьих уст и льется рѣчь.

Сокровищами и творческой силой русскаго языка Шмелев владѣет полновластно. Вот старуха проводит в лѣсу, голодная, ночь: «С травки росу **сшурхнет,** пальцы полижет» («Про одну старуху, стр. 28). «А тут и пошло самое **крутило, смута»,** (там же, стр. 9). Вот на праздникѣ «гармонисты из посада **начинали задорить на трехрядках»** («Розстани», стр. 85). А вот идут нищіе «на помин души»: «Был тут и старик из Манькова, и Алешка Червивый, и Вавася Косноязычный, и Мишка Зимник, и многіе. Шла непокрытая и калѣчная родная округа, потерявшая увѣренный голос и перезабывшая всѣ пѣсни, кромѣ одной — «кормильцы-батюшки, подайте святую ми-лостыньку, Христа ра-ди!» «Тѣ, у кого отняла судьба руки и оставила рты, вымела закрома и оборвала карманы, навалила заплат и горбов, погасила и загноила глаза. Тѣ, кто хорошо знает всѣ дороги, сухія и мокрыя, всѣ оконца, всѣ руки. . .» («Розстани», стр. 102). Вот «матрос — **всемога».** Вот икона «Неупиваемая Чаша». . . Старик иконописец Арефій открывает «великій секрет — невыцвѣтающей киновари»: «Яичко-то свѣжехонечкое, из под курочки прямо. А как стирать с киноварью будешь, сушь бы была погода — ни оболочка. Небо-те как Божій глазок чтобы. Капелечки водицы единой -ни Боже мой! Да не дыхай на красочку те, роток обвяжи. Да про себя, голубок, —

молитву, молитовочку шопчи «Красуйся-ликуй и ра-адуйся Іерусалиме!» («Неупиваемая Чаша», стр. 23). — «Много прошел я горем своим и перегорѣло сердце. Но кому какое вниманіе? Никому. Больно тому, который плачет и который может проникать и понимать... А таких людей я почти не видѣл» (Человѣк из ресторана, стр. 132). А вот о Россіи. Вернулся русскій на родину...

Он смотрѣл «на череду велонов, мотавшихся по просторам единой в мирѣ великой цѣлины русской»... «Россія... она тягу свою имѣет, вродѣ как пламень! Воздуху-у у нас много». («Родное», 7. 11). «Трепетно сладко слушал давно неслыханную пѣвучую рѣчь родную, крѣпко и кругло бьющую, сыплющую зубоскальством, смѣхом, по которой тосковал он, не чуя»... И «понесло его по родным просторам, под пѣсни жаворонков, под журчливую воркотню потоков, под скворчиную дробь и свист...» (там же, стр. 15).

И невольно вздыхает читатель: какая простота! и·какая свѣжесть в простом словѣ! Какая интимно-проникновенная сила! и в то же время ,говоря вмѣстѣ с Пушкиным, какая **точность!** Кто же, кто еще из наших современников зрит **так** и пишет **такое!** Развѣ только Гребенщиков...

Но всего не приведешь и не исчислишь. Надо самому читать и наслаждаться этим свѣжим воздухом русскости, этой «банею словесной»... Но современный нам вѣк, интернаціональный и завистливый, «демократическій» на словах и заговорщическій на дѣлѣ, нерѣдко замалчивает Шмелева именно за это. Тѣм выше оцѣнит и полюбит его грядущая, свободная и творческая **русская** Россія...

Сочетаніе этого полнозвучнаго и благоуханнаго языкового богатства с естественною простотою отличает Шмелева от другого современнаго мастера языка, А. И. Ремизова. Словесное богатство подчас у Ремизова больше и самобытнѣе, чѣм у Шмелева.

Вот образец Ремизовскаго словотворчества: «Яга даст Алалею золотую цѣпь — на цѣпи самоцвѣтный медвѣжій глаз. Станет страшно, надѣнь и страха, как не бывало. Тѣшится Чучела. Не отстают за Чумичелой в острых хохолках пери и мери, туды и луды — шуты и шутихи ягиные: сцѣпились куцые ногами и руками, катаются клубком, как гаденыши..» Но здѣсь видна и специфичность Ремизовскаго языкотворчества. Он — любитель-ищейка; он подобно антиквару идет на поиски, собирает утраченные перлы, раскапыва-

ет филологическіе курганы, засыпанныя городища народнаго быта и извлекает оттуда, как фольклорист-любитель, **всякое** — и уродливое, и неслыханное, и особенно чудное, отжившее, мудрое и непонятное, тусклое и самосіянное . . .

И вот для Ремизова слово становится **самоцѣнностью.** Незамѣтно оно перестает у него быть **художественным матеріалом** («эстетической матеріей»); оно перестает быть прозрачным и строго необходимым **орудіем** художественнаго **образа** и духовнаго **Предмета** (таковы эти «пери» и «мери», «туды и «луды», «чучели-чумичели»). Читатель произносит про себя эти слова и **ничего не видит за ними,** не постигает их и недоумѣнно дивуется на такія словесныя «изюмины»; а к Предмету они его не ведут. Ремизов ловит слова, как коллекціонер ловит бабочек, — поймает слово, насадит его на булавку и играючи разсматривает его, дивуется, любуется и радуется, не считаясь с тѣм, что читатель не знает, что с этими словами дѣлать, (как напр., в «Посолони»); подразумѣвать ли под ними что-нибудь, воображать ли и что именно, или просто «глотать» эти чудные, фонетически-ласковые звуки русской стихіи. . .

У Шмелева этого никогда не бывает. Шмелеву всегда важнѣе всего населить душу читателя точными, выраженными **«образами»** и вызвать в его духовном опытѣ важнѣйшіе для него **предметныя содержанія.** Слово у Шмелева остается орудіем образа и Предмета, — «художественным матеріалом». Сокровища русскаго языка — ф о н е т и ч е с к і я (звуки) и **семейотическія** (значеніе звуков), и особенно **ритмическія возможности** — находятся в его власти, служат ему, даруются читателю для вѣрнаго воображенія и разумѣнія. И эту власть читатель чувствует, довѣріе его к автору все возрастает и это вызывает в его душѣ истинное художественное наслѣдіе и восхищеніе. Но слово никогда не становится у Шмелева самостоятельной, самодовлѣющей цѣнностью, самоосновным бытіем: оно всегда остается орудіем в руках мастера и не превращается в любимую игрушку, созданную для безпредметнаго любованія. Слово всегда остается у Шмелева **носителем** Главнаго, посредником «сказуемаго» Предмета, как бы «медіумом», «знаком», средою, но всегда **прозрачною** средою образа и Предмета.

Один тонкій знаток нравов и приличій сказал однажды, что одежда не должна и не смѣет быть «больше, чѣм одеждою»: она не должна **заслонять** своего носителя, не должна

приковывать к себѣ его вниманіе, не должна замѣнить или искажать человѣческій образ; но если зритель раз замѣтит ее, то он должен будет тут же признать, что она «идет» к носителю, что она не только безупречна в покроѣ, линіи и расцвѣткѣ, но что она проявляет и показует наилучшим образом личное естество носителя или носительницы. Современная мода давно забыла это основное правило, а модернизированное искусство никогда и не знавало его.

И вот, соблюсти это требованіе классическаго вкуса и художества можно или так, чтобы опустить язык и стиль на средній уровень обывательской привычности, как этого хотѣл Чехов, и не давать ничего такого, что выходило бы за предѣлы повседневности и общеупотребительности... Или же так, чтобы «утопить» словесное «как» в великом сказуемом «что»: пропитать, пронизать слово — показуемым образом и Предметом (являемым через образ!), — настолько, чтобы читатель принимал **слово,** как необходимое, точное и яркое выраженіе образа и Предмета, чтобы он дивился слову, как дивной ризѣ, являющейся сущности. Вот именно так обстоит дѣло у Шмелева.

Его язык не просто выразительно-прозрачен, но насыщен в этой своей прозрачности. Иногда он бывает насыщен до такой степени, что только напряженное наполненіе его из читательскаго сердца и воображенія дѣлает его прозрачным. Напримѣр, монологи доктора в «Солнцѣ мертвых» могут показаться лѣнивому и мертвенному читателю бредом сумасшедшаго: эти глубокомысленныя и дерзновенныя обобщенія грознаго судьи, идущаго на смерть и потому возносящагося в своем духовном полноправіи до паренія; эти взрывы скорби, отчаянія, сарказма и ясновидящаго пророческаго пафоса; эти волны эмоціонально-философических изліяній, несущіеся на вас буйным хаосом; эти взрывы иносказаній, провалы и взлеты мысли — вызывают в стилѣ такіе неожиданные перерывы, прыжки и взлеты, подобія которым можно найти развѣ только у Шекспира (Гамлет), у Э. Т. А. Гофмана и у Достоевскаго (ср. Memento mori, и «Под вѣтром», в «Солнцѣ мертвых» и стр. 84—86, 104—111 «На пеньках»...).

И вот — эта иносказательная буйная непрозрачность, «не-сразу-прозрачность» и эта властно-точная прозрачность имѣют у Шмелева один и тот же источник: **насыщенность слова предметным содержаніем.** Здѣсь каждое слово, — а

у Шмелева обычно нѣт **ни лишних, ни случайных слов,** — настолько насыщено и перенасыщено душевным и образным «грузом», настолько проникнуто предметным содержаніем, что читателю начинает казаться, будто эти **образы** и **Предметы** неожиданно вторгаются в него, врываются в его душу, огненные, обжигающіе, вонзающіеся, приковывающіе, овладѣвающіе. Скажем еще иначе: эти содержанія оказываются вдруг **во мнѣ,** настолько подлинно-реальныя, что на обычном пути говоренія-писанія-печатанія — это кажется вообще недостижимым и непостижимым... Образы вторгаются в жилище вашей души, как полновластные, повелѣвающіе хозяева и невольно хочется спросить их: откуда вы? Как можете и смѣете вы так врываться? Чьим именем и законом вы живете и повелѣваете? Какіе силы за вами?! Ибо слова Шмелева осуществляют гораздо больше, чѣм кажется, слову вообще дано осуществить. И когда в каком нибудь разсказѣ или романѣ Шмелева души, насыщенныя страстью, сплетаются в драматическій узел и назрѣвает катастрофа («Про одну старуху», «Исторія любовная», «Свѣт Разума», «Няня из Москвы»), то у читателя дѣлается подчас такое чувство, будто его собственная душа загорается со всѣх четырех концов и тогда самыя напечатанныя слова кажутся раскаленными и будто не книгу держишь в руках, а огненный свиток и становится минутами непонятно, как это простая бумага держит «такое» и передает, а сама не загорается... И тогда начинаешь искать подобное в исторіи литературы и вспоминаешь трагическія страницы Достоевского, «Страшную месть», Гоголя, «Kater Murr» Гофмана, сцены из трагедій Шекспира, отдѣльные страницы Лѣскова, Мопассана и Гребенщикова.

У таких художников — слова больше, чѣм слова: они суть носители Предмета, знаменія духа, огни бытія. Кто говорит о стилѣ Шмелева, тот говорит о его творчествѣ в цѣлом: о его **художественном актѣ,** о его **образах,** о его **Предметѣ,** тот поднимает все бремя, весь дар, всю силу его произведеній. А это есть признак истинно-художественнаго искусства, ибо сущность его состоит в сращенности, в цѣлостном взаимопроникновеніи словесной матеріи, образа и Предмета.

3.

Итак, стиль Шмелева, рожденный его **художественным актом,** открывает нам доступ к его творческой **лабораторіи.**

Словесная ткань его произведеній такова, что она вызывает в читателѣ почти всегда чувство необходимости, обоснованности. Шмелев сосредоточен на том, что ему надо сказать: **главное** о **главном;** он неразвлеченно и неотступно плывет в главном руслѣ своего сказумаго Предмета и ведет главную линію повѣствованія — и лишь в эту мѣру вспыхивают огни его стиля, — и тогда когда он развертывает статическую картину (как в «Розстанях», и тогда он становится разорванным, взвихренным, и фразы идут клочками, обрываются, возобновляются, когда прыжки и обрывы чередуются со стремительными, сосредеточенными ударами скороговоркою, на подобіе выстрѣлов. В насыщенных, драматических мѣстах стиль Шмелева идет обычно так: восклицаніе — пауза — выстрѣл; стон от растерянности — пауза — гвоздь. И ни эти слова, ни особенно их ритмическая разстановка не терпят ни измѣненія, ни перестановки и потому так безконечно трудно переводить Шмелева на иностранные языки, и потому так слабы почти всѣ появившіеся доселѣ переводы.

Проза Шмелева выношена до полной зрѣлости, она **выкована** и в тоже время легка и естественна. Это — проза; но эта проза есть поэзія, это поэтическое творчество. Он поэт по самому языку, по слогу своему и это объясняется тѣм, что словесная ткань его подчинена **законам высшей необходимости,** идущей из **других планов бытія.**

Тот, кто хотѣл бы удостовѣриться в этом, должен был бы только выдѣлить элементы **паузы** из его ритма. Паузою он пользуется так, как до него, кажется, никто еще не пользовался в русской литературѣ. Я имѣю в виду тѣ **насыщенные перерывы,** которые встрѣчаются у Шмелева нерѣдко в серединѣ фразы. Они обозначаются у Шмелева обычно или посредством многоточія, или посредством тире, или же комбинацій того и другого со знаками вопроса и восклицанія. Такіе паузы многозначительныя, полныя неразрядившагося заряда встрѣчаются у великих музыкантов — у Бетховена, у Шопена, у Вагнера, а из современников в особенности у Метнера. Человѣк как бы ищет вѣрно-выразитель-

наго звука или слова; он затрудняется, он запнулся, споткнулся, не от внутренней неопредѣленности или пустоты, а от **чрезмѣрнаго напора содержаній,** — пауза! насыщенная пауза!... — и вдруг он выстрѣливает совершенно неожиданным словом, выраженіем, выводом, мѣтким гвоздем, который вот уже загнан одним ударом по самую шляпку... Так рождаются у Шмелева эти глубокомысленные афоризмы: «В смутѣ политической гнус наверху, а праведники побиваются камнями» («Блаженные», стр. 100). «Что страх человѣческій! Душу не разстрѣляешь». («Свѣт Разума» стр. 28). «Нѣт у нас свѣчек, возжем сердца» (там же, стр. 18). «Да неужто по всей Россіи так?.. Чашу какую расплескали!» («В ударном порядкѣ, стр. 116). «В таких случаях человѣк на крыльях несется, ангелы всѣ работают» («Сила», 131).

Вся эта лирико-драматическая насыщенность языка свидѣтельствует о нѣкоторой особенной **заряженности творческаго акта,** об интенсивности переживанія, созрѣвшей в лаконичности. И эта лаконичность языка нерѣдко повышается до того, что задача художественнаго чтенія такого текста вслух иногда кажется совершенно неразрѣшенной или требующей настоящаго сценическаго дарованія, — так много за этими словами сложнаго и глубокаго чувства, тонкой, точной, острой мысли, сросшейся с этим чувством или вырастающей из него; столько за этими словами искренней мимики, интонаціи, восклицанія, жеста, вопля и стона... Этот текст требует, чтобы чтец его как бы **«пѣл»,** чтобы чтеніе передавало и стон, и вздох, и вопль... Ибо этот язык поет тѣм естественным лирическим пареніем, которое выбирало и находило его выраженія и безошибочно ставило **главныя слова на ритмически сильныя мѣста.** Вот почему Шмелев нерѣдко пропускает ненужныя подлежащія, ибо скрытыя за ними существа должны подразумѣваться огнем чувства («народ», «злодѣи», «революціонеры», «спекулянты»). Вот почему это пареніе «уводит» Шмелева нерѣдко и невольно в древне-славянскій стиль («скудѣльный», «ку́пно», «сте») и обычно находит простѣйшія, но точныя слова для переживаній послѣдней глубины (« до сухой слезинки, выплаканной во тьмѣ беззвучной»...) И эта ритмически-декламаціонная пѣвучесть присуща его стилю не только в мѣстах большого драматическаго насыщенія подъема, но и в спокойном бытовом эпосѣ («Розстани»), и в лирикѣ, зарождавшейся, но не осуществившейся любви («Марево»), и

в религіозно созерцательной- нѣжной пастели («Неупиваемая Чаша»).

Тайну этого пѣнія трудно объяснить в двух словах. Но все же — вот они, эти два слова. Всякое пѣніе родится из **стона и вздоха:** стон дает звук, вздох дает ритм. И потому душа, создающая пѣвучій стиль, должна говорить **«стеная и вздыхая».** А душа стонет и вздыхает глубже всего и искреннѣе всего тогда, когда сердце человѣка наполнено и переполнено **чувством;** когда она влюблена — по земному, или по небесному, влюблена в небесное («Неупиваемая Чаша», «Блаженные», «Свѣт Разума»), или в земное («Исторія любовная», «Марево» и др.). Есть особая, присущая человѣку, текучая пѣвучесть чувств, дарующая ему счастіе и в самом послѣднем несчастіи, именно тогда, когда вострепетавшее, раненое, прилѣпившееся и созерцающее сердце живет всей своей полнотой. Понятно, что для созданія истиннаго искусства — мало земной, эротической влюбленности, радующейся и страдающей по земному и от земного. Надо, чтобы Предмет, ранившій и одарившій, воспринимался по **небесному;** тогда он только предстанет в своей земной оболочкѣ, которая на самом дѣлѣ является **живым символом большаго, священнаго и главнаго.** Тогда прозаик становится поэтом и язык его струится легко, поет свободно и всегда находит свой вѣрный ритм.

Возьмем прозу Л. Н. Толстого и подчас плывущаго в его руслѣ Бунина. Вчитайтесь и вы найдете **борьбу с непоющим языком,** который не покоряется писателю и дает немало перегруженности и переосложненности в стилѣ: одно предложеніе висит на другом, тяжело сочиненное, с трудом прилаженное в своем подчиненіи и соподчиненіи, три раза «который», два раза «вслѣдствіе того», «гдѣ», «от чего», — цѣлая литературная баррикада. У Толстого такой стиль преобладает в его позднѣйших произведеніях, (начиная с эпилога к «Войнѣ и миру», особенно в части второй; срв. всѣ нравоучительные писанія, «Воскресеніе»); это тяжелая проза, трудно дававшаяся автору; проза, которая не поет, и не хочет, и не может пѣть. Читатель найдет ее и у Бунина, почти всюду, гдѣ Бунин начинает морализировать в подражаніе Толстому, или пытается изобразить чуждую ему сложную и утонченную «психологію» своих «героев», или же стремится к чрезмѣрной точности внѣшняго описанія (напр.

в «Господин из Сан-Франциско»[1] срв. «Митина любовь», «Жертва», «Игнат», «Веселый двор», «Роза Іерихона», «Божіе дѣло», «Жизнь Арсеньева» и др.).

Русская литература знает за то и дивные образцы **пѣвучей прозы,** напр. у Гоголя «Вечера на хуторѣ близь Диканьки», у Пушкина, у того же Толстого, «Дѣтство и отрочество» (но уже не «Юность»), у Тургенева «Пѣснь торжествующей любви», у Достоевского («Бѣдные люди», отдѣльные главы «Подростка» и др.). А у Гребенщикова («Чураевы») мы находим нѣкую эпическую пѣснь, незабываемую трагическую мелодію неисчерпаемой долготы и подлинной проникновенности. И вот, проза Шмелева обычно поет — и ни оборванныя, недоговоренныя предложенія, ни вихри, ни перебой фраз этому не мѣшают. Эта проза остается **страстной и пѣвучей** даже тогда, когда, повидимому, начинает «безумствовать» и «заговариваться» (Солнце Мертвых, На пеньках); и читатель всегда может быть увѣрен, что здѣсь все не только **стилистически-допустимо** и **ритмически-необходимо,** но и **художественно обосновано.** Ибо за явным хаосом слов укрывается кипѣніе чувств, предчувствій, мыслей, озареній и образов. Хаос словесной матеріи только вѣрно отображает и передает хаос образов; и больше, и глубже — ибо здѣсь **скопившіяся страсти міра** разрешаются в формах подлиннаго взрыва. (см. ниже гл. 4).

Эти страсти, эти страстныя натуры — составляют образное содержаніе искусства Шмелева. Но в преддверіи этого **второго** слоя его искусства (образнаго) нам надлежит прежде вскрыть **художественный акт** Шмелева.

Стиль Шмелева таков, каков он есть, именно потому и только потому, что таковы тѣ **образы,** которые он изобра-

---

[1]) Приведу для примѣра цѣликом эту баррикаду слов (дѣло идет о Капри): «На этом острове, двѣ тысячи лѣт тому назад, жил человѣк, совершенно запутавшійся в своих жестоких и грязных поступках, который почему то забрал власть над милліонами людей и который, сам растерявшись от безсмысленности этой власти и от страха, что кто нибудь убьет его из за угла, надѣлал жестокостей без всякой мѣры — и человѣчество навѣки запомнило его, и тѣ, что в совокупности своей, столь же непонятно, как и он, властвуют теперь в мирѣ, со всего свѣта съезжаются смотрѣть на остатки того каменнаго дома, гдѣ жил он на одном из самых крутых подъемов острова. . .». Вліяніе поздних произведеній Л. Н. Толстого здѣсь несомнѣнно. Недаром Бунин всю жизнь некритически поклонялся ему.

жает, и таков тот **творческій акт,** который им владѣет. В этом можно убѣдиться уже на основаніи того, что его стиль, оставаясь в сущности вѣрным себѣ самому, успокаивается в образно болѣе спокойных произведеніях («Человѣк из ресторана», «Марево», «История любви», «Няня из Москвы», «Пути небесные») и доходит до полной лирико-эпической созерцательности, до духовнаго «штиля» в таких произведениях, как «Розстани», «Лѣто Господне» и «Богомолье». Здѣсь стиль Шмелева достигает такой нѣжности красок, такой утонченной барельефности и такого душевнаго благоуханія, что для отысканія подобія ему надо обращаться к нѣжнѣйшим зарисовкам Гоголя, Гончарова и Толстого. Буря улеглась, подули легкіе весенніе вѣтерки, заиграло солнце, послышался далекій звон православных храмов, пѣніе молитв и вот разливается цѣлое море дѣтской наивности и любовнаго упоенія . . .

Ясно, что **художественный акт** Шмелева есть прежде всего **чувствующій** акт. Этим он отнюдь не исчерпывается, но этим он прежде всего опредѣляется. Другія свойства и силы его акта могут быть представлены в большей или меньшей степени по отдѣльным произведеніям. Но **чувство** остается всегда ведущим и преобладающим. . . Его созданія родятся из умиленнаго и переполненнаго, или даже горящаго седрца, — в отличіе от холодно-эротическаго и горькаго мастерства Бунина; в отличіе от мятущагося и жалѣющаго, но разламывающаго всѣ грани воображенія у Ремизова; в отличіе от умно-ироническаго, но холоднаго и даже чуть презрительнаго наблюдательства Алданова; в отличіе от холоднаго декораторства выдумщика Мережковскаго; в отличіе от грубых и тенденціозных, иногда ярких, но всегда холодных в своей ненависти мазков Горькаго. . .

Вот почему я с самаго начала сказал, что холодная душа, лишенная любви и умиленія, влюбленная в себя и ведущая в литературѣ кокетливую, плоскую игру, душа, не знающая ни добра, ни зла, ни трепета, ни ужаса, ни исканія, ни отчаянія, ни восторга, ни отвращенія никогда не будет ни ликовать, ни рыдать вмѣстѣ со Шмелевым. Тому, кто хотѣл бы удостовѣриться в этой тонкой, эмоціональной эффективной ткани его произведеній, я бы посовѣтовал прежде всего прочитать и **прочувствовать** его сравнительно ранній роман «Человѣк из ресторана». Это произведеніе стоит под тѣм знаком, под которым начал свою литературную дѣ-

ятельность Достоевскій: я имѣю в виду его роман «Бѣдные люди», потрясшій когда то Бѣлинскаго, и другой роман его «Униженные и оскорбленные». В таких произведеніях выводятся люди особаго душевнаго уклада, живущіе с открытым, обнаженным чувствилищем: как если бы всѣ внѣшніе покровы были сняты, сердце ничѣм не защищено и каждое дуновеніе вѣтра или (по выраженію А. М. Ремизова) простое прикосновеніе воздуха причиняло бы мученіе; а между тѣм человѣческія отношенія сложны, люди холодны, грубы, нерѣдко жестоки и мучают друг друга.

Так у «Человѣка из ресторана» любящая, остро чувствующая и легко огорчающаяся душа, с большим чувством собственнаго достоинства, с повышенным чувством отвѣтственности и со склонностью к философскому разсужденію, отнюдь не сводящемуся, как у чеховских героев, к фантазированію о будущем. То, что он разсказывает или записывает есть живое повѣствованіе о собственных тревогах, обидах и огорченіях: это **исповѣдь раненаго сердца.** И вот этими словами опредѣляется до извѣстной степени **все творчество** Шмелева и именно потому он так часто обращается к литературной формѣ изложенія от нѣкоего «я«, от лица самого чувствующаго героя («Солнце мертвых», «На пеньках», «Человѣк из ресторана», «Марево», «В ударном порядкѣ», «Свѣчка», «Исторія любовная», «Няня из Москвы», «Сила», «Блаженные», Лѣто Господне», «Богомолье» и др.).

Исповѣдь обнаженнаго и раненаго сердца — вот основной акт Шмелева, вот преобладающее образное содержаніе его повѣствованій; и естественно, что это обнаженное и раненое сердце ищет исхода, спасенія, взрывает свою глубину и «из глубины взывает к Богу» (Псалом 129. стих I). Таков и сам Шмелев — писатель: **страдая, пишет он о страданіях человѣка; не сострадая,** как это бывает у Чехова, а страдая **подлинно, сам,** и страдая в тѣх самых людях, о которых он повѣствует, или, вѣрнѣе, — которых он, показывая, «вдвигает» в душу читателя. И это опять сближает его с Достоевским, умѣвшим страдать в своих «героях» и не «героях» так, как никто болѣе в міровой литературе.

Такое страдающее изображеніе имѣет свою опасность: оно может сдѣлать писателя безпредметно умиленным, размягченным до безформенности, «безкостным», сентиментальным. Сентиментальность является главной опасностью для **писателей сердца.** Таковы Диккенс, Достоевскій, Шме-

лев, и особенно Ремизов, склонный придавать «трагическое» значеніе всякому, даже и безпредметному, и болѣзненному страданію. А сентиментальность и есть именно **безпредметная** или **предметно необоснованная чувствительность,** которая в силу этого является чрезмѣрной, неумѣстной, духовно-неоправданной и художественно-неубѣдительной. Если же она становится постоянной установкой души, не сообразующейся с предметной обоснованностью своих настроеній, то она может постепенно превратиться не просто в ошибочную, но в фальшивую и неискреннюю чувствительность, — и особенно на путях аффектаціи. Человѣк только чувствующій и не умѣющій ни преобразить свое чувство в волевое рѣшеніе и свершеніе, ни прокалить его мыслью, ни духовно «опредѣлить» его, — но чувствует так много, так остро, и так хаотично, что оказывается не в состояніи отреагировать свои чувства; запас неизжитых аффектов скапливается в его душѣ и начинает непроизвольно вырываться и изливаться из нее по неподходящим поводам и случаям, в неумѣстных формах, над нестоящими объектами, охотно принимая их за «гуманность», за «доброту», за «умиленіе», или за «пафос». Аффектація есть преувеличеніе в изъявленіи чувства, от нее один шаг до мелодраматическаго кокетства, до фальшивой рисовки. Бывает так, что человѣку становится все равно, над кѣм и над чѣм излить свои чувства, только бы излить их; и он начинает изливать их чрезмѣрно, не там, не так, не по тому основанію, фантазируя и фантазіей построя себѣ несоотвѣтственные объекты.

И в жизни, и в искусствѣ **всякая** аффектація и всякая сентиментальность дают ощущеніе неискренности, наигранности, фальши: жизненное содержаніе недостаточно для акта, акт не соответствует образу, недостаточно обоснован им — и читатель получает впечатлѣніе, что из него вынимают несоотвѣтственный запас чрезмѣрнаго умиленія; от этого читатель начинает противиться, он извлекает полноту своих душевных сил из чтенія и начинает досадливо морщиться, переживая нѣкую художественную «оскомину».

Этими низшими проявленіями сентиментальности Шмелев не грѣшил; но в «дѣтских» разсказах его, напр., в «Мэри», он не свободен от сентиментальности, которая для него остается угрозой и опасностью. Ему и в жизни было свойственно возгораться эмоціональным пламенем от людей и явленій, незаслуживающих никакого восторга. Чувствитель-

ный человѣк в обращеніи к слабому или страдающему существу нерѣдко не находит в себѣ волевого и мыслящаго упора и впадает в разслабляющій его «восторг».

Революція, всѣм нам раскрывая глубину и суровость реальнаго, а не воображаемого только страданія, сообщила чувствительной и легко-воспламеняющейся душѣ Шмелева нѣкій **трагическій «упор»**, нѣкую **объективность в созерцаніи,** столь изумляющую нас у Шекспира и Достоевскаго; она потребовала от него творческой выдержки, стойкаго созерцанія и трезвенія, я сказал бы — **волевой твердости в страданіи, объективности и философскаго осмысленія.** Этим он преодолѣл в себѣ сентиментальный уклон, что и сообщило ему силу созерцать величайшія страданія, не как «мученія», заслуживающія «сочувствія» и «состраданія», а как **«судьбоносный путь»,** очищающій душу и возводящій ее к мудрости. Так, **жалость** еще живет в нем и в романѣ «Человѣк из ресторана» и в «Мэри», и в других ранних разсказах; и сентиментальность вновь появляется в его незаконченном романѣ «Пути Небесные». В этом послѣднем произведеніи «умиленіе» автора пред душевным обаяніем главной героини, Дариньки, становится все болѣе восторженным, не давая читателю достаточных основаній для переживанія такого же умиленія и восторга. Слагается роман с осознанной автором тенденціозностью, не только «апологетическаго», но прямо таки «агіографическаго» характера, — что то вродѣ «житія святой», святость которой не передается читателю. К художеству примѣшивается умиленная проповѣдь; созерцаніе осложняется сентиментальным наставленіем. Образ Дариньки рисуется все время чертами «общаго» умиленія и восторга, которым читатель начинает невольно, но упорно сопротивляться. «Мудрость» Дариньки, которая призвана все «объяснить», «освѣтить» и «оправдать», а главное обратить к христіанской вѣрѣ ее разсудочнаго супруга, становится все менѣе убѣдительной. Обаяніе Дариньки, непрестанно испытываемое другими героями романа и неутомимо рисуемое автором, все менѣе передается читающей душѣ. Сентиментальность становится главным актом в изображеніи, а душа читателя охладѣвает и томится. Читатель воспринимает **намѣреніе** автора, но перестает художественно «принимать» его образы и созерцать его предмет...

Иначе обстоит в других, болѣе зрѣлых и менѣе умиленных произведеніях Шмелева: там он страдает **в своих геро-**

ях, страдает **ими,** в видѣ них; он пишет из **них** в живом опытѣ, страдая **через** них, за **весь русскій народ, за все человѣчество.**

Это не значит, что Шмелев не знает радости и счастья, благодати и солнца, что он не умѣет их живописать. Но все, что он пишет, проникнуто втайнѣ нѣкоей глубокой, со дна идущей, скорбью, которая иногда отступает в молчаливую укрытость и только лучится далекими отсвѣтами, а иногда развертывает всю горечь и все смятеніе раненаго сердца. И когда он начинает изображать, как в «Богомольѣ», и в «Лѣтѣ Господнем», и в «Исторіи любовной» блаженное счастье ранняго дѣтства, — а он умѣет изображать его так, что у читателя на сердцѣ незамѣтно накипают слезы умиленія и благодати, — и когда он изображает это счастье сквозь скорбное предчувствіе, того сколь мір ужасен, ибо буйно неистов в своих темных влеченіях, срывах и провалах («Исторія любовная») — то читателю открывается послѣднее измѣреніе скорби, владѣющей міром и отмѣчающей все человѣческое на землѣ.

Однако, само собой разумѣется, что художественный акт Шмелева отнюдь не исчерпывается чувством. Его чувство воспріемлется, развертывается и воплощается **силою воображенія.** Та изображаемая сила, которая присуща его **внѣшним** чувственным описаніям, обладает особой проникновенностью, пластической наглядностью и яркостью именно потому, что она идет из сердца. Он воспринимает все, — и природу, и бытовую обстановку, и человѣческую внѣшность — чувством: то любовью, то умиленіем, то скорбью, то молитвою, то благодареніем, то негодованіем, то отвращеніем, то ужасом. И каждое такое его чувствованіе обостряет его **зоркость,** дает ему ту **мѣткость** в описаніи, ту **экономную точность,** которую так цѣнил Пушкин. Солнце восходит: «розовый шест скворешника начинает краснѣть и золотиться и над ним уже **загорѣлся прутик»** («Богомолье», стр. 32). Революціонеры дали старухѣ породистую корову, погнала она ее к себѣ: «А корова идет строго, шаг у ней мѣрный, бочища... Морда страшенная, ноздря в кулак, подгрудок до земли, ну и вымя... котел артельный!» (Про одну старуху, стр. 14). Порочный мальчишка, сын дворника, стал слѣдователем Чеки: «револьвер, галифе, тѣ же болячки под носом, та же вытянутая в хоботок губа с рыжеватыми усиками, выдутые безцвѣтные глаза, ужасный лице-

вой угол идіота, голова сучком, шепелявый... и неимовѣрными духами! И англійскій пробор еще!» (На пеньках, стр. 103). А вот поборающій діакон: «Лицо корявое, вынуто в щеках рѣзко, стесано топором углами, черняво, темно, с узким высоким лбом»... («Свѣт Разума», стр 16). Читает читатель — и видит.

Но Шмелев умѣет не **наблюдать** эту внѣшнюю видимость, а **созерцать** ее, как **внѣшній знак духовных незримостей.** Он никогда не описывает чувственно-внѣшній состав вещей, образов и природы, как **нѣчто самодовлѣющее,** — для «слога», «для яркости», для красивости». Он никогда не увлекается декораціей, на подобіе Мережковскаго или Бунина. Ему **некогда,** ему надо показать **Главное,** главные **образы и сокровенно-явленные** через них **Предметы.** Поэтому вѣрность у него всегда прожжена лучами **души** и сверхлучами **духа.** Все внѣшнее служит ему лишь знаком, орудіем или средством; оно символизирует невещественное, символически передает **душевное состояніе и духовное обстояніе.** А человѣческіе образы, выводимые им, являются в такой законченной, **убѣдительной реальности, что остаются в душѣ** читателя, как «пріобрѣтеніе навсегда». Читая романы Мережковскаго, все время чувствуешь и думаешь: «Вот, что он выдумал... Вот как декоративно расписал... А вѣдь ничего навѣрное этого не было»!... Читая Чехова, думаешь и чувствуешь: «Да, так могло быть! Может быть, так и было»... Читая Достоевскаго, забываешь, что это всего только «литературная зарисовка», только разсказ, продукт фантазіи; забываешь и то, что «это ты только читаешь», забываешь и книгу, и себя, и время, а живешь только одним **движеніем этих сущих реальностей,** которые отнынѣ всегда будут жить в тебѣ и владѣть тобою. Вот к этой образной интенсивности приближается и Шмелев, в своих сильных и зрѣлых созданіях. Такова мощь его воображенія, сила перевоплощенія, способность показать необходимое. А о том, в чем нѣт необходимости, он пишет очень рѣдко, развѣ только в незавершенных набросках.

Замѣчательно, что и чувство самого Шмелева, и чувство его героев — мыслит. Мыслительный акт Шмелева изливается в двух направленіях. Во-первых, каждое его произведеніе есть нѣкое цѣлое, несомое единою идеею, увѣнчанное единым куполом, архитектонически выдержанное и выведенное как бы по единому плану-замыслу. Со Шмелевым

в его зрѣлых и законченнных произведеніях никогда не бывает того, что бывает с немыслящими писателями, которые несутся за своими образами, не зная, ни куда движутся эти образы, ни зачѣм сами они несутся за ними. Они не владѣют своими образами, а образы из них дѣлают свое орудіе, и ни они, ни читатель не знают до конца, зачѣм это все разсказывается, к чему и для чего. В лучшем случаѣ они дают мѣткое изображеніе быта, но и тут не сводят художественно концы с концами. У них можно многое сократить, если сокращать не лѣнь, но впрочем можно и так оставить. Их хорошо читать в вагонѣ или в трамваѣ, гдѣ можно не очень слѣдить ни за героями, ни за фабулой; их можно начать с середины, или пропустить нѣсколько глав, если надоѣст читать, потому что об остальном можно догадаться, да и нужды особенной нѣт. Так бывает часто у Мережковскаго, иногда у Куприна, у Томаса Манна и особенно у Л. Н. Толстого, этого всадника без головы, который носится по пустырям своего прошлаго на шалом пегасѣ своей фантазіи. А найти у кого нибудь из них замысел долгаго дыханія, идею большой глубины, на подобіе того, чѣм подарил русскую литературу Гребенщиков, нечего и думать.

У Шмелева, особенно в его зрѣлом періодѣ, всѣ повѣствованія выношены единой и зрѣлой медитаціей. Читая его, надо сосредоточить свое вниманіе, слѣдить за каждой фразой, давать полноту наполненія каждому образу, каждому настроенію, каждой новой фигурѣ, учитывать каждое событіе. Ибо все исходит из нѣкоего **единаго, незримаго центра,** к которому опять сходятся все расходящіеся из него нити. Тут надо имѣть полное довѣріе к автору; он не злоупотребит тѣм ограниченным полем художественнаго вниманія, которое ему читатель предоставляет, но за то потребует его цѣликом и использует его, раздвигая его рамки, и в объем, и в глубину. Произведеніе Шмелева надо прочесть два, три раза и при каждом новом чтеніи вы будете замѣчать и художественно постигать все новыя детали, мимо которых вы пронеслись в первый раз; онѣ впитываются при втором, при третьем чтеніи и оказываются **необходимыми членами цѣлаго,** того **массива образов,** из котораго состоит изображаемая автором ткань произведенія, а также того **предметнаго центра,** который художественно разслоился на эти образы, выговаривая себя через них. Произведенія Шмелева проме-

дитированы, **выношены в художественном тайномысліи,** вызрѣли хорошо, до осуществленія необходимости.

Онѣ бывают зрѣлы и в заглавјях своих, этого никогда не добивался Чехов, удовлетворяясь любым заглавіем. Чехов в своих зрѣлых произведеніях, был мастером образной экономіи, но не владѣл предметной медитаціей и предметной глубиной своих произведеній: так, напр. он считал: «Три сестры» веселой комедіей из провинціальной жизни и лишь с трудом был переубѣжден в этом отношеніи артистами Художественнаго театра; и разсказам своим он нерѣдко давал совершенно случайныя и несущественныя заглавія, сам признавая, что это »безразлично». Заглавія Шмелева, напротив, всегда существенны и центральны, символически указуя на главное естество Предмета. Он ставит, напр., заглавіе «Про одну старуху» (заглавіе разсказа и цѣлой книги) и читатель постепенно убѣждается, что под «старухой» разумѣется не только эта единичная, несчастная в своем геройствѣ старая женщина, но **Россія-Родина-Мать,** брошенная своим сыном и замученная своей трагической судьбой, погибельно борящаяся за своих внучат, — за грядущія поколѣнія... Эта идея нигдѣ не выговорена в разсказѣ, она таится подонно, молчаливо, но она зрѣла в душѣ автора и медленно вызрѣвает в душѣ читателя. «Человѣк из ресторана» — заглавіе, ставящее художественный акцент на идеѣ **Человѣка,** ибо здѣсь показывается глубокая и чувствительная душа, скрывающаяся за фраком рестораннаго лакея. И вот почти всюду: чѣм глубже вы закинете крючок вашей вопрошающей мысли в слова и образы Шмелева, тѣм лучше: вы не обманетесь, ибо его произведенія медитированы из глубины и доведены до образной очевидности.

Но предметный замысел Шмелева никогда не появляется в обнаженно разсудочном видѣ. Это мыслит не мыслитель теоретик, а художник образов; и мысли, им выговариваемыя, он выговаривает не от себя, а от лица своих героев, душевное состояніе которых таково, что они не могут не **выговаривать** этих мыслей. Эти мысли скрыты в характерах и событіях, в художественных образах. Я не знаю у Шмелева ни одного произведенія, в котором он попытался на подобіе Л. Н. Толстого выговорить философскую (нравственную, или соціологическую, или историческую) «идею» своего произведенія, как это мы видим в послѣсловіи к «Войнѣ и миру». У Шмелева мыслят его герои, в отличіе от Буни-

на, примитивныя существа котораго не могут и не умѣют мыслить, так что умному автору приходится выговаривать эти зрѣлыя мысли от себя, помѣщая их в текстѣ в видѣ обобщающих отступленій. У Шмелева мысль остается всегда «подземною» и когда мы находим у него эти свойственные ему четкіе, точные, лапидарные афоризмы, то они падают из уст его героев, ими прочувствованные, ими нажитые, их опыт формулирующіе. Эти афоризмы произносятся людьми иногда необразованными, простецами, но звучат всегда совершенно естественно и художественно-убѣдительно: ибо тот, кто их выговаривает ,находится обычно в состояніи глубокой страдающей взволнованности и афоризмы эти выталкиваются тогда, когда глубина чувства поднимается «кверху» и разстояніе между душевными пластами сокращается мгновенным озареніем, как в молитвѣ.

«А Свѣт-то Разума хранить надо? Хоть в помойкѣ и непотребствѣ живем, а тѣм паче надо Его хранить» (Свѣт Разума, стр. 28).

«Всѣ предразсудки брошены, небо раскрыто и протокол составлен, что кромѣ звѣздной туманности ничего подозрительнаго не найдено»... (На пеньках, стр. 105).

«Ибо Россія в то время устранилась, называясь мутно РСФСР, без гласных, как бред нѣмого» ... (Орел, стр. 167).

«Ну, а гдѣ правда-то настоящая, в каких государствах, я вас спрошу?! Не в законѣ правда, а в человѣкѣ» (Про одну старуху, стр. 9).

«Куда же, Господи, ведешь нас?! Зачѣм испытуешь так»? (Свѣт Разума, стр. 33).

Герои Шмелева мыслят мукою, молятся страданіем, формулируют свою душевную боль, обобщая. А сам художник видит мысль в событіи и чует в страдающем простецѣ родящуюся мысль, в простецѣ, который не рожден мыслителем, но в котором смятеніе родит простую и глубокую идею, заложенную в событіи.

Замѣчательны тѣ вспышки юмора, на которые Шмелев так щедр. Этот юмор не изсякает у него никогда — в самых послѣдних, безвыходных, отчаянных положеніях. Но и этот юмор почти никогда не идет от автора: это есть юмор его «дѣйствующих лиц». От автора он идет только в сказках «Степное Чудо». То что Шмелев пишет от своего лица, обычно совсѣм просто и строго; он сообщает лишь самое необходимое, — ибо он всегда экономит поле свободнаго вни-

манія в душѣ читателя. А юмор у его персонажей — крѣпкій, острый, соленый; подчас юмор висѣльника; но иногда, — в зависимости от «героя» — нѣжный, тонкій, запрятанный в глубину самой жизненной ситуаціи; тогда он бывает недопроявлен, как в «Исторіи любовной», гдѣ все им пронизано, как блеск в улыбкѣ глаз или как вздрагивающій уголок рта. Но читатель его найдет сам при чтеніи.

Остается указать еще на **волевой** состав в его художественном актѣ. Элемент воли силен у него, как у художника как раз в необходимую мѣру, чтобы сообщить разсказу эту крѣпкую спайку, этот строгій отбор слов и образов; чтобы дать художнику ту власть над матеріалом образов и слов, которая иногда просто потрясает своей законченностью. Но его «люди», «герои» и характеры по большей части не являются активными, творческими, всѣм рискующими борцами; это не пробивающіеся натуры, как напр., Василій Поликарпович («В ударном порядкѣ») или Севастопольскій солдат (в разсказѣ «Желѣзный Дѣд»); это по большей части души страдающія, терпящія и в страданіях очищающіся... Они не безвольны, как герои Чехова или Ремизова, мало того, нерѣдко это настоящіе герои, но героизм их — в их выносливости, в стоическом упорствѣ, в преодолѣніи посланных испытаній и униженій, в борьбѣ с судьбою, но не в активном овладѣніи своей судьбою. Таков в основных чертах творческій акт Шмелева. Таковы его образы.

4

Через них нам открывается его **художественный Предмет.**

Шмелев поэт **міровой скорби.**

Как только читатель откроет ему довѣрчиво свою душу и Шмелев начнет свое повѣствованіе лаконически-насыщенным, сразу поющим и прерывистым ритмом, так душа читателя почувствует себя прикованной, вовлеченной и захваченной. Он замѣтит скоро, что в глубинѣ его души возникает нѣкая тревога, то трепет, то содроганіе, как будто сердца его касаются лучи, от которых он ни отгородиться, ни замкнуться не может. Все, что Шмелев показывает, — эти живые, четко и мѣтко, выпукло и ярко намѣченные образы, эти вспышки и зарницы, освѣщающія нѣдры человѣскаго душевнаго существа, эти символически-насыщенныя

внѣшнія картины и духовно изнемогающія человѣческія души — все это, объединяясь и достигая великой интенсивности, силится выговорить нѣкую огромную и страшную тайну; читатель не успѣет еще осмотрѣться и понять, что это с ним и в нем происходит, как эта тайна завладѣвает им и осаждается в его душѣ навсегда.

Теперь он никогда уже не освободится от этой великой и таинственной загадки. Он будет носить ее в себѣ и с собою до самого конца своих дней или до тѣх пор, пока он не осмыслит и не постигнет эту **предметную тайну.** Естественно и понятно, что в поисках за разрѣшеніем заданной ему проблемы читатель снова и снова обратится к самому Шмелеву: ибо, поистинѣ, кто умѣет так показать эту предметную тайну, тот, навѣрное, сумѣет ее и раскрыть, и изъяснить, и разрѣшить связанныя с нею проблемы. И читатель не ошибется: Шмелев сумѣет во всяком случаѣ указать **путь** к развязанію и осмысленію этого великаго духовнаго узла.

Жить — значит страдать. Вот эта тайна и это великое заданіе. Но тогда — стоит ли жить? Гдѣ же исход? Как можно мириться с таким пониманіем жизни? И развѣ возможно вообще — в книгѣ или в искусствѣ отвѣтить на этот вопрос? Или, может быть, отвѣтить на этот вопрос возможно только жизнью, самой жизнью? Но если так, — то только **своею собственною** жизнью, поставленнною перед Лице Божіе и проникнутою Его лучами...

Шмелев — **поэт міровой скорби.** Не потому, что он ее воспѣвает, но потому что он пріобщился ей лично, испытал, извѣдал, и узрѣл ее; и испытав и увидѣв, изобразил ее в живых траги-лирических образах и пропѣл увидѣнное — (Предмет) и изображенное (характеры и дѣла своих «героев») в четких и прекрасных звуках русскаго, — сразу **литературно-совершеннаго и простонародно-наивнаго языка.** Он познал эту тайну **в Россіи,** в путях и страданіях русскаго народа, коего он есть живая часть и живой представитель. Он воспѣл эту тайну, окунувшись вмѣстѣ со своим родным и любимым народом в послѣдніе соблазны и муки и в молитвенное, христіански-православное просвѣтленіе. Такова была его судьба. Таков был его дар. Такова была возложенная на него миссія. И миссію эту он пронес через всю свою жизнь и выполнил ее до конца.

Человѣку не дано жить на землѣ и не страдать. Это за-

ложено в самом **способѣ существованія**, который присущ ему в земной жизни. Страданіе несет ему его собственная ограниченность, малость, скудость, неполнота его жизни, несовершенство его особы; и особенно его, столь охотно посягающій и столь легко ожесточающійся инстинкт; а больше всего — его духовная немощь, слѣпота и недоброта. И каждому из нас задано справиться с этим и дострадаться до мудрости и просвѣтленія. И вот Шмелев посвятил весь свой человѣческій опыт и писательскій дар созерцанію и изображенію этих неизбѣжных для всѣх нас страданій и тѣх путей, которые ведут и приведут нас к просвѣтленію. И мы не ошибемся, если скажем, что он искал этих путей именно **для русскаго** человѣка и находил их в нашем по русски понятом христіанствѣ.

В. П. Рябушинскій

ДѢТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ШМЕЛЕВА

Среди твореній Шмелева есть цѣлая группа, которую можно объединить под общим названіем «Дѣтство и Отрочество». — У Льва Толстого есть сочиненіе под таким же названіем. Это названіе и послужило нам образцом. Сравненіе обоих Дѣтств напрашивается само собою. Дѣтство Шмелева протекало лѣт на 50 позднѣе Толстовскаго — но будь оно ему современным, едва ли оно было бы другим — лишь с одной разницей: его бы не отдали в гимназію, но это уже касается конца отрочества.

Обѣ семьи, Толстые и Шмелевы принадлежат к двум различным слоям русскаго народа. Графы Толстые, члены высшаго дворянства — Шмелевы принадлежат к средѣ средняго московскаго купечества. Дѣти перваго слоя были связаны с народной русской стихіей не исключительно, конечно, но в значительной степени через прислугу, а вторые через семью, они члены этой стихіи.

Не нужно преуменьшать воспитательное значеніе, которое имѣла прислуга в барских домах; это были не наемники, а до извѣстной степени члены семьи. Конечно сознаніе, что они низшій слой, дѣтям, если не внушалось, то приходило само собой через мелочи обстановки и жизни, а главное дѣтям внушалось, что прислугѣ не дана полнота знаній, которой обладают родители, гувернеры и знакомые родителей. Что вообще духовная атмосфера прислуги часто была не совсѣм такою, как у помѣщика. Это выражалось особенно наглядно в лучшем соблюденіи постов прислугою. В этом графы Толстые существенно отличаются от купцов Шмелевых. У Шмелева хозяина и вѣра и дух тѣ же самые как у его приказчика, Горкина, как у няньки его дѣтей как, у плотников его артели; и маленькій Ваня Шмелев это прекрасно чувствует — как Левушка Толстой чувствовал у себя дома обратное.

Вот почему самыя убѣдительныя впечатлѣнія дѣтства, аксіомы религіознаго опыта вывѣтривались. Как примѣр приведем эпизод со странником Гришей, о котором говорится в «Дѣтствѣ и Отрочествѣ» Толстого... Дѣти Толстые под-

сматривают как Гриша молится горячо, с вѣрою несокрушимой; гремя веригами падает он на замлю — впечатлѣніе громадное — оно у Толстого выражается замѣчательной фразой: «О Великій христіанин Гриша» — но гдѣ память о ней в дальнѣйшем у Толстого?

У Шмелева есть тоже эпизод о странникѣ — он находится в разсказѣ «Серебряный Сундучек» (из книги «Лѣто Господне») — Сундучек с мощами Цѣлителя Пантелеймона, который привезен к Шмелевым, чтобы помолиться о больном отцѣ Шмелева. В Москвѣ была часовня Пантелеймона Цѣлителя с Его мощами — больные москвичи приходили молиться о выздоровленіи, а в исключительных случаях мощи привозились на дом. Конечно не всегда молитва исполнялась и о смыслѣ этого неисполненія и говорит странник, который зашел в дом Шмелевых и присутствовал на молебнѣ. Послѣ молебна, когда мощи увезли и старик Шмелев лег отдохнуть, то Горкин пригласил странника попить чайку и мальчик присутствовал при этом.

Разговор шел, как уже упоминалось, о непостоянном исполненіи молитв об исцѣленіи. Тема сложная, затрагивающая сложные вопросы богословія, и простые люди слушали поясненія странника, слушали с каким-то особым пониманіем, если не разсудком, то духом.

Все это складывалось в душѣ ребенка и помогло преодолѣть интеллигентскій соблазн в дальнейшем.

*

Думается, что с достаточной точностью русскую культуру первой половины 19-го вѣка можно назвать преимущественно дворянской (Пушкин, Лермонтов, Грибоѣдов, Жуковскій, Гоголь и др.), а вторую половину этого вѣка, преимущественно интеллигентской.

Отличительной чертой послѣдней культуры можно считать суевѣрное преклоненіе перед воображаемым всемогуществом и непогрѣшимостью науки и разсудка. Нужно отмѣтить при этом, что почти все, что в Россіи было цѣннаго, в мірѣ подлинной культуры, назовем обоих Толстых, Достооевскаго, Тургенева и др. — было внѣ этой интеллигентской культуры, — но вліяніе ея было сильно. Не избѣжал ее временно и Шмелев, соприкоснувшійся с нею в гимназіи и университетѣ. Но тѣ здоровыя духовныя начала, которые были восприняты им в обстановкѣ родительскаго дома, по-

могли Шмелеву справиться с заразой и стать тѣм здоровым писателем, каким мы его знаем.

Любопытно и поучительно сопоставить его с этой точки зрѣнія с другим русским писателем его современником, обладателем тоже большого, очень большого таланта — с Чеховым. Послѣдній интересен, но отмѣчен печатью унылости; его герои сумрачны, часто тоскливы. Пожалуй особенно сильно это сказывается в одном из самых талантливых произведеній Чехова, в «Трех сестрах».

Чехов писатель періода упадка, заигрыванія с соціализмом. От него шаг к другому писателю большого таланта, но уже не интеллигентской культуры, а ея логической преемницы, коммунистической культуры, культуры бѣсов — к Максиму Горькому.

Вот почему нам так дорог Шмелев, свидѣтель здоровья в коренной русской стихіи. Когда читаешь Шмелева, дышишь здоровым воздухом, это помогает возстанавливаться вѣрѣ в Россію, а читая талантливых, но в сущности упадочных авторов, иногда начинаешь сомнѣваться — подлинно ли в корнѣ Россіи и сейчас лежит здоровое начало? Подлинно ли ядро ея здорово, — а может быть уродливые наросты интеллигентщины и большевизма и есть сейчас ея сущность? Но нѣт, Россія падала не раз и всегда подымалась. Вся ея исторія — это разсказ о великих провалах и великих подъемах.

*

Смутное время 17-го вѣка, преддверье нашего смутнаго времени большевизма, его предсказаніе.

Кто тогда спас Россію? В краю угла, конечно, нужно поставить церковь — тогда ея клир еще не был в упадкѣ, послѣдній пришел послѣ раскола, особенно со времени Петра. Но мы обратимся к мірянам. Какіе русскіе круги главным образом спасли Россію? — воины и то что можно назвать третьим сословіем. Пожарскіе и Минины третье сословіе — Козьма Минин Сухорукій, нижегородскій купец средней руки, по положенію он может быть сопоставлен с отцом Шмелева, московским купцом средней руки.

*

Когда смута кончилась, был выбран царь и порядок возстановлен, третье сословіе сошло с политической арены и занялось своими дѣлами и стало как бы блюстителем русскаго

народнаго духа. Может быть именно то обстоятельство, что оно сошло с политической арены способствовало его роли такого блюстителя народнаго духа.

Выражалось это и в том, что оно было Храмоздателем, что в средѣ его было много ревнителей древняго благочестія — старообрядцев. Состав же третьяго сословія постоянно пополнялся притоками в его среду его способнѣйших людей из среды крестьянства и одновременно очищался уходом из его среды, через разореніе, — неспособных людей. Третье сословіе — купечество становилось таким образом как бы мужичьей аристократіей. Ядро русскаго духа хранилось таким образом в нем и в войскѣ (Суворов) — так было до конца 19-го вѣка.

В это время купечество доселе молчавшее в лицѣ своей верхушки — знатнаго московскаго купечества, заявило энергично о своем существованіи. О нем стали писать, да кромѣ энергичных слов говорили дѣла: больницы, клиники, картинныя галлереи, музеи, собранія древних икон, даровыя столовыя и т. д. Но говорили о верхах, забывали, что за верхами нѣскольких десятков фамилій, стояли сотни и тысячи семей средняго и низшаго купечества, не меньшей, а часто и большей духовной цѣнности, чѣм так называемое именитое купечество. Однако, для нас сейчас не это важно — а то, насколько семья Шмелевых может служить типичным образцом, показательным примѣром, чтобы составить себѣ представленіе о среднем московском купечествѣ конца 19-го вѣка.

Мы Москву этой эпохи знаем не с чужих слов и пріемлем смѣлость заявить, что семья Шмелева вполнѣ типична. Вот почему разсказы, которые мы объединили под названіем «Дѣтство и Отрочество», помимо художественнаго достоинства, могут послужить, как очень цѣнный матеріал для исторіи русской культуры и болѣе того, даже для исторіи русской экономики.

Дѣло в том, что Шмелев был не торговым купцом, а был хозяином для десятков и сотен рабочих, как бы маленьким фабрикантиком, — по марксистской терминологіи, кровопійцей, эксплуататором чужого труда.

Совсѣм другая картина получается, когда читаешь Шмелева. Не для увеселительных прогулок сѣдлали Кавказку, а для утомительных разъѣздов по дѣлам. Тревожная дѣятельность хозяина, полная неожиданностей, предъявляю-

щая большія требованія и волѣ и уму, под мастерским пером Шмелева становится ясной и понятной, даже для тѣх, кто живет в совсѣм другой обстановкѣ; знакомясь по разсказам Шмелева с дѣятельностью его отца, хозяина плотничьей артели, видишь, что функція хозяина вовсе не заключается в выжимѣ соков из его рабочих; не кровопійцы наживают капиталы, а талантливые организаторы.

Отношеніе Шмелева отца к его рабочим и служащим совсѣм не напоминает отношеніе паука к мухѣ. В то же время, читая Шмелева, не читаешь слащавую идиллію. В этом художественная правда его повѣствованія и она неразрывно связана с научной правдой, если можно так выразиться.

В сочиненіях Шмелева, которые мы сейчас разсматриваем, есть одна черта, которая дѣлает их интересными не только для исторіи **русской** культуры, и в частности **русской** экономики, но и для изслѣдованія **всеобщей** экономики, — это ощущеніе связи между хозяйственной жизнью и ея религіозностью.

В первый раз об этом заговорил извѣстный нѣмецкій ученый Вебер, когда указал на связь между американским капитализмом и пуританством первых англійских переселенцев 17-го вѣка. Главный принцип пуританства, одной из форм крайняго протестантизма есть ученіе о предопредѣленіи. Удача в дѣлах — признак избранничества. Такое ученію полно соціальной устойчивости — бѣдняки не имѣли права завидовать богатым. Богачи знали, что обязаны помогать бѣднякам и дѣлали это широкой рукой — отсюда американская благотворительность, — но одновременно презирали бѣдняков. Сейчас, говорят, многое в этом отношеніи измѣнилось; но пуританскій дух конечно совсѣм не изгладился из американской экономической жизни, а до чего он противорѣчит православному духу легко себѣ представить, спросив мысленно Горкина, ощущает ли он, что его хозяин, Шмелев отец, Божій избранник или нѣт? Горкин навѣрное подумал бы, что вопрошатель не в своем умѣ. Да и сам старик Шмелев был бы такого же мнѣнія.

Русское православное настроеніе внушает другое: богач, хозяин многих рабочих, могущій постоянно согрѣшать несправедливостью, находится с точки зрѣнія спасенія души, гораздо болѣе в опасном положеніи, чѣм его служащіе. Все это давало характеру связи экономики с религіозностью в

Россіи другой оттѣнок, чѣм в Америкѣ и пренебрегать этим историку экономики не слѣдует.

Конечно художественная цѣнность твореній Шмелева неизмѣримо превышает их научное значеніе, но мы остановились так долго на научных выводах, потому что они являются одним из слѣдствій художества в твореніях нашего мастера. А что говорят эти научные выводы? Они свидѣтельствуют о связи русской православной религіозности с экономикой — она заключается в напоминаніи хозяину об его обязанности по отношенію к рабочим.

По своей практикѣ помню, как мой духовный отец меня спрашивал: не обидѣл ли я рабочих и служащих? Без сомнѣнія и Шмелеву отцу его духовник предлагал подобные вопросы. В суровую экономическую жизнь, церковь вносила оздоровляющую струю.

*

Дѣтство и отрочество Шмелева прошло под знаком духовнаго здоровья, это вошло в плоть и кровь нашего автора.

Писанья его дышат здоровьем, не сентиментальностью надуманной жизнью, а настоящим здоровьем, плодом непрерывной борьбы с попытками нездоровья взять верх над человѣком, и главная причина этого является то отсутствіе раздвоенія в первых впечатлѣніях дѣтства и отрочества, которое мы встрѣчаем, напримѣр, у Толстого.

Напомним о странникѣ Гришѣ у Толстого и о странникѣ у Шмелева. Послѣдній всѣм домом воспринимается одинаково, а у Толстого Гриша для матери, Левушки и прислуги Божій человѣк, а для графа отца, обманщик. И об этом раздвоеніи родители при дѣтях препираются между собою.

Ребенок Толстой, выслушав вечером молитву странника, стал на сторону матери, а взрослый Лев Толстой далеко разошелся с нею — и то что было не замѣтной трещинкою в дѣтской душѣ, превратилось с годами в зіяющую рану. Дух Толстого страдал от нея до конца.

У Шмелева в дѣтствѣ духовной трещинки не было и, может быть именно по этому, дух у взрослаго мужа пребыл здоровым.

Елена Охотина-Маевская.

ШМЕЛЕВ И «ПУТИ НЕБЕСНЫЕ»

Иван Сергѣевич Шмелев считал «Пути Небесные» своим главным произведеніем. Именно в нем он хотѣл сказать свое послѣднее слово; выявить всю силу своего большого таланта, весь духовный опыт прожитой жизни. Эта мысль занимала писателя многіе годы: о ней он говорил в дружеской бесѣдѣ, упоминал в письмах.

Первая книга «Пути Небесные» вышла в 1936 году. Как долго вынашивал ее и писал И. С., — нам не извѣстно. Через десять лѣт вышла вторая книга. Но автор все таки считал свой труд не законченным, и горѣл желаніем досказать, выразить все свое завѣтное, послѣднее и главное.

Сужденіе Шмелева об этом своем произведеніи, как о главном, было вполнѣ справедливо и не являлось только плодом порыва вдохновенія, когда писатель, увлекаясь, может быть пристрастным и в порывѣ творчества теряет объективность сужденія. Об этом — о правильном взглядѣ Шмелева на свое произведеніе — свидѣтельствует продолжительность писанія этой книги. Повидимому, И. С. вынашивал ее много лѣт; отдавал ей свои силы; готовил свое послѣднее слово. Но... так и не досказал его!

Он выѣхал из Парижа в тихую обитель, одушевленный желаніем именно там дописать это свое произведеніе. Об этом Шмелев говорил провожавшим его. И, казалось, исполняется его желаніе закончить «Пути Небесные» в монастырских стѣнах, в тиши обители. Вѣдь и раньше он хлопотал о визѣ в Америку, желая поселиться у стѣн русской обители, чтобы в тишинѣ и собранности душевной закончить большую работу, которую обдумывал и вынашивал годами. В чудный лѣтній день, бодрый и радостный И. С. совершал свой послѣдній путь из Парижа. Казалось, мечта его осуществляется. Но в предначертаніях Господних уже был подведен итог жизни нашего писателя: не суждено было открыть завѣтныя мысли, закончить послѣднее и главное... В тот же день вечером он скончался.

Есть что-то роковое, какой-то высшій смысл в том, что главныя произведенія геніальных писателей остаются не законченнными; их «послѣднее слово» не высказанным до

конца. Неумолимая смерть прерывает намѣченное, обдуманное и выстраданное. Может быть, Господь полагает, что для читателей довольно и того откровенія, которое нас уже коснулось, и удерживает от той полноты, которая цѣликом открылась талантливому писателю. Может быть, это и так... Пушкин своего не досказал; Гоголь мучился, что не сказал главнаго; жизнь оборвалась у Достоевскаго, который не успѣл вложить в Алешу Карамазова свое завѣтное, пророческое, как задумал; остановила смерть и послѣднее слово Шмелева именно тогда, когда оно уже срывалось с его уст.

Но в чем оно заключалось, — мы можем только предполагать. Вѣроятно, он вкладывал его в уста Дариньки, — в ея «посмертную записку к ближним». О ней он упоминал часто, но всегда скупо. Только пріоткрывал, предполагая главное дать в заключеніи. И, несомнѣнно, оно казалось «ближних»: к ним он и обращался. Он не назвал это «дневником», он не предназначал это для Виктора Алексѣевича непосредственно, а только **через него** своим читателям. И не случайно, а глубоко продуманно, обращается писатель прямо к «ближним», т. е. **ко всѣм.**

Короткія выписки, характер Дариньки, толкованія событій, умѣніе отыскать во всем внутренній смысл, — это тѣ вѣхи, по которым мы можем приблизительно судить, намѣчать главную мысль автора. Но все таки это только предположенія, а выводы духовнаго опыта, вдохновеннаго озаренія Ивана Сергѣевича Шмелева, — для нас остались тайной. Но одно несомнѣнно: это его прозрѣніе в главное должно было быть очень велико и свѣтло, если так сильно и на многіе годы захватило стараго писателя; требовало высказаться, но не могло вылиться без подготовки читателя, без направленія его на опредѣленный путь.

Шмелев готовил читателя упорно и настойчиво вел к этому пути: написал двѣ книги, отдавая этому труду много сил и времени. Вѣроятно, он предвидѣл, что если бы поспѣшил сказать главное, — оно не дошло бы до сердца, не открылось бы неподготовленному сознанію читателя. И потому он терпѣливо направлял читателя, мечтая в концѣ сообщить все, что уже открылось ему —автору. Этому помѣшала смерть. Но и то, что создал Ив. С. Шмелев, — ключ к пониманію жизни, ко всѣм ея явленіям, ясный и понятный для каждаго, — является изумительным завершеніем творческаго вдохновенія Богом отмѣченнаго писателя. Его «взгля-

дываніе» в жизнь, убѣжденность, что нѣт в ней ничего случайнаго и неважнаго, — а, наоборот, все, всякая мелочь, планомѣрна и ведет к опредѣленному Свыше пути, — проходит через весь роман «Пути Небесные».

Это — исключительный в нашей литературѣ подход к жизни.

Психологіи человѣческой души касались многіе писатели. Полнѣе и глубже других дал ея анализ Достоевскій, и в этом он иногда превосходил профессоров-психіатров. Шмелев тоже подробно и проникновенно вскрывает психологію Виктора Алексѣевича. Но не в этом особенность замѣчательнаго романа «Пути Небесные». Особенность этого произведенія в **толкованіи жизни,** всѣх ея явленій и проявленій. Людям, знакомым с Житіями Святых, совершенно понятен подход Шмелева к жизни. Вот именно так же воспринимали жизнь и повѣствователи Житій. Это **духовный** подход к жизни: убѣжденіе, что Господь не только Творец и Искупитель, но и Промыслитель; что все в жизни каждаго человѣка не случайно, а направлено Господом ко спасенію; что жизнь — это постоянная борьба за душу, за спасеніе ея. Господь на этом трудном пути ко спасенію жизни дает знаменія и явленія, чтобы поддержать человѣка, склоннаго по самой природѣ своей ко грѣху. Дает свободную волю избрать себѣ добро, стремленіе жить по закону Его, или — зло; самоугожденіе и услажденіе жизнью без высшей цѣли и через это служеніе злу, потерю стремленія спастись. Господь никогда не оставляет свое твореніе без помощи. И часто, когда кажется, что нѣт выхода, когда разумом человѣк зашел в тупик, Господь выводит — спасает человѣка, и Его Рука ведущая замѣтна в жизни каждаго. При этом у Господа нѣт избранных. Но, чтобы чувствовать и понять это, — надо углубить и прояснить свой духовный взор; надо искать этих знаменій; надо всматриваться и вдумываться в жизнь. Помнить, что нѣт в ней случайностей, нѣт и не-важнаго, мелкаго: все нужно, все цѣлесообразно. И вот при таком отношеніи к жизни, открывается ея смысл. Человѣк перестает быть игрушкой судьбы, безпомощным и ненужным в круговоротѣ событій.

И еще есть одна особенность в романѣ «Пути Небесные»: Даринька не анализирует, не вглядывается в свои душевныя переживанія; она говорит о них вскользь, — вся в прелести, «в соблазнѣ». А все ея вниманіе, всѣ силы сосредо-

точены на знаках «оттуда» : в них она ищет указанія, помощи, укрѣпленія. Они — главное, это — вѣхи, по которым она должна идти. И главное для нея не она сама, а тот путь, который ей Свыше намѣчен. Именно на этом сосредоточено все ея вниманіе, душевныя силы. Даринька совершенно не полагается на себя: она не разсуждает; она ищет помощи свыше, — в молитвѣ, в взываніи к матушкѣ Агніи. В душевном бореніи она обращается к старцу Варнавѣ, и он опредѣляет ей «везти возок». И у нея не зарождается даже искра сомнѣнія: своя воля отсѣкается, даже без понужденія. Это то, что постигается достойными монашествующими, — во всем отдаться старцу, не имѣть своей воли, — что постигается большой духовной собранностью и смиреніем: «послушаніе паче поста и молитв».

И у Шмелева — без всякой натянутости и надуманности, а, наоборот, совершенно естественно — оказываются «зрячими», мудрыми не разумом, а именно мудростью сердца, матушки Агнія, Вирсавія, Аделаида. Они знают настоящую жизнь, свободно разбираются в том, что высоко образованному и всесторонне развитому Виктору Алексѣевичу кажется загадкой, непонятным и таинственным. Даринька и в міру монашка. Не по внѣшней жизни своей, а по воспріятію ея, по настроенности высокой. Без всяких поученій и идей, своими поступками и воспріятіем всего окружающаго, она без слов убѣждает близких в своей правотѣ. И ей это удается без малѣйших усилій, без всякаго напряженія. Ея внутренняя чистота (несмотря на ложное, грѣховное ея положеніе), душевная явность и озаренность — притягивают и покоряют; она, не задаваясь этою цѣлью, невольно как бы ведет за собою близких, — ведет, не отдавая себѣ в этом отчета. И это совершенно естественно, ибо душа человѣческая в основѣ своей христіанка (Достоевскій) и невольно тянется к свѣтлому; поучается примѣром несравненно легче, чѣм проповѣдью; легко возрождается и возвышается.

Духовное перерожденіе, которое медленно совершалось с Виктором Алексѣевичем и так быстро и бурно с Дагаевым, — эта притягивающая сила душевной красоты Дариньки, — совершенно естественны. А сложилось это в глубинах вѣры ея и преданія себя цѣликом волѣ Божьей. Ея душевное богатство сказывается во всем: она радуется жизни, ярко чувствует красоту Божьяго міра. Но она — не

оторваннное от міра существо, презрѣвшее все мірское. Вовсе нѣт, ибо для нея жизнь не потеряла свою разнообразную красоту и прелесть. Но, вмѣстѣ с этим, Даринька все окружающее принимает, как дар Господа. У нея рѣдкая тонкость в сужденіях, так как все имѣет своим глубоким источником только вѣру. Она не упрекает Виктора Алексѣевича за его проступки, а просто говорит: «тебѣ это дано было сдѣлать». Но это присутствіе Высшей воли во всем, — в то же время не снимает отвѣтственности за содѣянное. Даринька чувствует это и не обвиняет; сама она старается не поддаваться «своеволію», а угадывать сердцем положенное.

*

Творческая сила Шмелева так велика, что он не только полностью овладѣвает читателем, но как бы заставляет его самого безотчетно творить, предугадывать, участвовать в развитіи романа. Он только упоминает о Карпѣ («читает от божественнаго»), но это так художественно ясно, что в воображеніи читателя Карп представляется живым и ярким образом «правильнаго человѣка». Тоже с Прасковьюшкой, Анютой; со всѣми второстепенными персонажами, о которых Шмелев говорит как будто вскользь, но так ярко, что они становятся живыми людьми.

В чем заключается этот чудесный дар немногими словами давать живой и законченный образ, — объяснить трудно. Только отчасти объяснить это можно совершенно своеобразным языком писателя, требующим неослабнаго вниманія и крайняго напряженія, при особой постановкѣ слов, особенных «шмелевских» слов; отчасти необычным построеніем фраз. Читая его произведенія, совершенно невозможно отгадывать слова: они не текут плавно, а ложатся мазками и от этого картина пріобрѣтает большую яркость. Шмелев, как автор, требует абсолютнаго вниманія и полнаго напряженія душевных сил читателя. Достаточно прочесть вслух нѣсколько страниц его, чтобы понять как своеобразен язык шмелевскій. Это не плавная рѣчь, теченіе слов: у Шмелева каждое слово особое. И, читая его произведенія, точно спотыкаешься, — пока цѣликом не захватит автор, — пока не вникнешь в его своеобразную красоту изображенія. Его язык дѣйствительно труден: какая-то спѣшка слов, часто повторяемых особым образом, своеобразіе и большая напряженность. Шмелевскій язык можно сравнить с языком че-

ловѣка, который говорит в сильном возбужденіи, только что пережив душевное потрясеніе. И это душевное кипѣніе выражается в спѣшкѣ слов, в их повтореніи, в многочисленных знаках препинанія, — точно дыханія не хватает, чтобы говорить плавно.

Художественный дар у Шмелева огромный. К тому же и весьма своеобразный: его толкованіе жизни, событій, положеній — все это не обычайно. Шмелев не проповѣдует, не поучает, не проводит своих идей... Достоевскій своею жизнью учит — и это самая сильная проповѣдь, самое убѣдительное средство, самое вѣрное служеніе ближним. Святые подвижники, стремясь к спасенію и усовершенствованію себя, этим спасали других. Они становились для народа прибѣжищем, утѣшеніем и укрѣпленіем. Даже Герцен замѣтил, что если бы тѣ, кто искренно хочет спасать человѣчество, совершенствовали бы самих себя, то этим принесли бы большую пользу для блага человѣчества и... для самих себя. Иногда приходится наблюдать, что и в увлеченіи идеей замѣчается курьезная несуразность. Так в своих «Воспоминаніях» талантливый и умный Ив. А. Бунин ѣдко высмѣивает свое увлеченіе толстовством! То же и у Амфитеатрова, остро наблюдавшаго жизнь и запечатлѣвшаго много интереснаго в своей книгѣ «Дамы и бабы». Зачастую у послѣдователей увлекательных идей не хватало характера и воли идти до конца: идеи развѣнчивались, а жизни ломались.

У Дариньки нѣт идей. Шмелев свободен от этой писательской слабости. Он взял не идею, а саму основу жизни: вѣру и духовныя проявленія души человѣческой. У него это вполнѣ жизненно и послѣдовательно. Это не фантазія, не увлеченіе; это — вполнѣ стройное міровоззрѣніе и міроощущеніе, должно быть выстраданное и выношенное автором. Поэтому роман его «Пути Небесные» так правдив, так близок к жизни, хотя и совершенно своеобразен. Интересно, что отношеніе читателей к нему очень разное: одни принимают цѣликом, находят откровеніем, молитвой в литературной формѣ; другіе — отрицают и считают соблазном.

Но эти люди духовно слѣпы и с ними нѣт смысла говорить о творчествѣ Ив. С. Шмелева во всем его своеобразном объемѣ. Для них он остается только бытописателем, давшим необычайно яркое изображеніе торговой части Москвы. Для них «Лѣто Господне», «Богомолье», «Свѣт разума»

и др. произведенія Шмелева, — несомнѣнно очень цѣнный вклад в русскую литературу и его огромная заслуга. Но в этом, скажем мы, еще не весь Шмелев, не вся его духовная сущность; не главное и завѣтное, **внутреннее** его міроощущеніе, которое он частично пріоткрыл нам в «Нянѣ из Москвы» и еще больше в романѣ «Пути Небесные».

Замѣчательно, что у Шмелева такое же вѣрное ощущеніе отсутствія времени в области вѣры, гдѣ все вѣчно, как и у Чехова, о котором до сих пор судят и спорят: вѣрил-ли он в Бога? . . . Хотя совершенно очевидно, что писатель (Чехов), создавшій замѣчательные по глубокой настроенности разсказы «Архіерей», «Студент», «В святую ночь», «Степь» и др. — никак не мог быть не вѣрующим. Чехов ярко чувствовал сам и замѣчательно правдиво, убѣдительно передавал в разсказах свое ощущеніе, что все совершившееся много вѣков тому назад, живо до сих пор, — как бы совершается постоянно, непрерывно. Это же ощущеніе вѣчности и увѣренности, что у Бога ничего не пропадает, — «там» нѣт забвенія, нѣт смерти, забвенія; «там» все живет; — повидимому, является завѣтной мыслью Шмелева. И он подводит к этому читателя уже в концѣ второй книги своего романа «Пути Небесные». Поэтому мы можем только глубоко сожалѣть, что ему не положено было дописать-досказать нам это **главное.** Он только нѣсколько раз упоминает о большом страданіи, пережитом и Виктором Алексѣевичем и Даринькой, — и через это страданіе полное его просвѣтленіе и ея побѣда.

В романѣ «Пути Небесные» совершенно естественно слито небесное с земным. Нѣт никакой натяжки, все правдиво. И Даринька это живо чувствовала: она сознавала, что здѣсь, на землѣ, мы живем для вѣчной жизни. В этом освѣщеніи она воспринимала все окружающее, свѣтлое и темное. Как часто у образованнаго и умнаго Виктора Алексѣевича срывалось: «не понимаю, не постигаю и, наконец, не принимаю». А у неученой, но мудрой Дариньки не было этого непониманія, ибо в ея свѣтѣ жизни все понятно и все полно смысла, глубокаго и вѣрнаго. Она обладала мудростью сердца, перед которой разум оказывался безпомощным, а его заключенія — шаткими.

В этом послѣднем, но не законченном, романѣ нашего замѣчательнаго писателя выразилось во всей полнотѣ настоящее христіанское воспріятіе жизни и глубокая право-

славная вѣра; любовь к чудесным молитвам и псалмам, которыми говорит вѣрующая душа с Богом. Повидимому, не случайно Шмелев ввел в свой роман Страстной монастырь, у стѣн котораго и начался этот роман и связь с которым была сохранена на протяженіи всего повѣствованія. Этот монастырь так назван потому, что там хранилась чудотворная икона Божьей Матери Страстной, которая такое получила названіе, ибо на иконѣ по сторонам Богоматери изображены ангелы с орудіем Страстей Господних.

В своем повѣствованіи Шмелев нѣсколько раз упоминает, что Виктор Алексѣевич просвѣтлѣл окончательно, пережив большое страданіе. Но в чем оно выражалось автор не указывает. Во всяком случаѣ, писатель прозрѣл, что только общеніе с Даринькой, ея примѣр и указанія, — были все же не достаточны, чтобы очистить душу Виктора Алексѣевича, отравленную в теченіе многих лѣт безвѣріем и раціонализмом. Надо было очиститься страданіем и через это возродиться духовно. На это указал сам Господь, не только проповѣдью просвѣтившій, но и Голгофским страданіем искупившій грѣхи всего человѣческаго рода. Может быть, поэтому и Страстной монастырь введен в роман иконой Царицы Небесной?

Конечно, это не утвержденіе, а только предположение. И очень жаль, что для нас осталось навсегда сокрытым: что же считал Шмелев **главным,** что **открылось** ему, пережившему тоже большое религіозное бореніе и большое человѣческое горе? А поэтому, вѣроятно, постигшему — через свой собственный опыт — самое главное, что занимало его послѣдніе годы жизни и требовало выявленія; что вдохновляло его на этот большой и замѣчательный труд, в котором цѣликом выявился не только огромный талант писателя, но и его духовное прозрѣніе в сущность вещей.

«Пути Небесные» совершенно по новому вскрывают жизнь, освѣщают ея явленія и производят необычайное впечатлѣніе на читателя. Для многих этот роман является откровеніем, новым подходом к жизни. А большой талант художественнаго изложенія так захватывает, что невольно заставляет читателя полностью довѣриться автору.

Надо признаться, что часто наше христіанство носит только формальный характер: вѣра не является тѣм камнем, на котором мы строим свою жизнь с повседневными мелочами и заботами. Мы просто забываем, что в жизни

все имѣет значенiе и все важно, ибо, называясь христiанами, мы должны быть ими (или хотя бы всемѣрно стремиться к этому) и в жизни. Недостаточно быть вѣрующими только в храмѣ, при общей молитвѣ. И огромная заслуга Шмелева не только в том, что он обогатил нашу литературу своим большим и ярким талантом, дав незабываемые произведенiя о старой Россiи, сохранив ея свѣтлый образ для нас и будущих поколѣнiй изображенiем ея с такой художественной и убѣдительной силой, что она запечатлѣвается в душѣ читателя навсегда. Его заслуга значительно большая в том, что он православным вѣрующим людям дал огромное духовное богатство: новый ключ к жизни. Не всѣ читают святоотеческую литературу; не всѣ знакомы с тѣм духовным опытом, который дают нам подвижники; не многiе склонны читать книги духовнаго содержанiя. И вот в романѣ «Пути Небесные» они в литературной формѣ находят тот духовный взгляд на жизнь, который безусловно правилен, испытан вѣками и дает огромную пользу читателю.

Чтобы написать этот роман, — единственный в своем родѣ в нашей литературѣ, — надо было, кромѣ величайшаго вдохновенiя, пережить и духовное озарѣнiе, прозрѣнiе в сущность вещей. И замѣчательно, что такое же воспрiятiе жизни мы встрѣчаем у Гоголя в его «Перепискѣ с друзьями», за которую так нещадно нападали (и продолжают еще нападать) на этого великаго писателя-мыслителя. Но стройно, на протяженiи всего романа, только Ив. С. Шмелев изложил жизнь под углом духовнаго зрѣнiя. И если литература призвана учить, воспитывать и возвышать души человѣческiя, то Иван Сергѣевич преуспѣл во всей полнотѣ. Он прiумножил талант, данный ему Творцом, и русскую литературу обогатил безцѣнным сокровищем. Талант — это величайшее чудо; творческое вдохновенiе — тайна души. Это обреченность на служенiе, — и служенiе трудное. Жизнь писателя — это обычно путь испытанiй и страданiй, точно этим он искупает свой дар.

Но какого душевнаго напряженiя, какого огромнаго труда стоило нашему незабвенному писателю созданiе его безсмертных произведенiй, — знает только Господь. Отчасти и нам это становится понятным из письма Шмелева к князю П. Д. Долгорукову от 31 марта 1941 года, когда он писал:

«. . . Помаленьку продолжаю работу свою. Голова кружится от бездонности, когда думаю над «Путями не-

бесными». Захвачен, но порой чувствую трепет — удастся-ли одолѣть. Столько лиц, столько движенія в просторах россійских: вѣдь дѣйствіе теперь, в романѣ, — поля, лѣса, помѣстья, городки, обители, а всего главнѣе — ищущая и мятущаяся душа юной Дариньки и обуревающія страсти — борьба духа и плоти.»

В благодарность за труды Шмелева и радость, которую нам дал, помянем его в своих грѣшных молитвах... Большой и свѣтлый талант ушел от нас 24 іюня 1950 года. Нами не вполнѣ оцѣненный, но отдавшій нам все самое драгоцѣнное, а от нас не видѣвшій заслуженнаго признанія и... даже испытавшій травлю враждебнаго лагеря. Но мы вѣрим, что будущая Россія вполнѣ оцѣнит всю глубину, силу и красоту творчества Ивана Сергѣевича Шмелева и, по заслугам, внесет художественные отрывки его замѣчательных произведеній в хрестоматіи.

Н. Федоров

СУДЬБА ШМЕЛЕВА

Вокруг имени Шмелева, особенно, в послѣдніе послѣвоенные годы кипѣли страсти, горѣли споры, распространяя чад и дым политических разногласій, туманивших голову, слѣпивших глаза. Читатели — в широком смыслѣ, т. е., значит, и критики, читая Шмелева, обычно отдавались нездоровому влеченію минутных настроеній и часто впадали в негодованіе или восторг, выражали хулу или похвалу, однако недостаточно обоснованные и вызванные причинами, нерѣдко искусству сторонними и даже враждебными — и, слѣдовательно, вредными. А это мѣшало выясненію подлиннаго творческаго лика Шмелева, — глубокаго, интереснаго и заслуживающаго подробнаго, тщательнаго, объективнаго изученія. Сейчас, к сожалѣнію, вся наша жизнь тѣснѣйшим образом связана с политикой, захватившей отчасти и нашу литературу, а еще больше литературную критику, подчас нежелающей отойти от политической злободневности даже при разсмотрѣніи чистых, казалось бы, художественно-литературных вопросов.

Нѣкоторое основаніе для этого давал сам Шмелев: **сюжеты** и **тон** многих его литературных произведеній нерѣдко слишком жгучи для современников.

Шмелев близок Гоголю и Достоевскому не только многими чертами своей творческой **личности** и **манеры,** но и **судьбой.** Вспомним отношеніе к Гоголю большинства даже литературных критиков послѣ опубликованія им «Избранных мѣст из переписки с друзьями»; или отношенія к Достоевскому, уже получившему признаніе, послѣ выхода его «Бѣсов» и, особенно, нѣкоторых глав из его «Дневника писателя»; или судьбу Лѣскова в связи с его романом «На ножах», вызвавших переоцѣнку этих писателей — особенно Лѣскова — на основаніи лишь политических мыслей, идей и лиц, содержавшихся в «Бѣсах» или в «На ножах», внѣ всякой зависимости от художественных качеств этих романов, правда, в значительной степени уступавших многим другим произведеніям этих писателей, чего никак нельзя сказать о «политических» романах Шмелева.

Сюжеты Шмелева в большинствѣ, особенно в эмигрантскій період его творчества, почти злободневно-современны, а **тон** страстно горяч, почти истеричен, с излишней примѣсью чуть ли не пропагандной преувеличенности и подчеркнутости. Большевистско-октябрьская революція с ее ненасытной кровожадностью, ожесточенностью и разрушительностью, — потрясла, а по мнѣнію нѣкоторых критиков даже искалѣчила Шмелева и его творчество сдѣлало крутой зигзаг. Выдвинутые этой революціей вопросы полностью захватили Шмелева и самому его творчеству дали нѣчто новое.

Политика, входя в искусство, губит его, во всяком случае ограничивает, опошляет его, ибо то свѣтлое, возвышенное, прекрасное, вѣчное, что составляет сущность искусства, несет в шумную безтолочь житейско-повседневной суетности. Шмелев, приняв послѣ революціи некрасовскій — губительный для подлиннаго искусства! — завѣт, стал давать — к счастью лишь временно! — предпочтеніе гражданину пред поэтом, как бы забыв об истинных задачах искусства. Вопли гражданина иногда стали заглушать мечты и воздыханія поэта, в оглушительном трескѣ литавр подчас тонуло бряцаніе лиры.

Отдавши свое вдохновеніе обличенію и бичеванію большевизма, Шмелев, одновременно с этим, со всѣм пылом своего горячаго сердца отдался **культу Россіи, —** самое имя и весь уклад жизни которой — и личной, и общественной, и государственной — жестоко и настойчиво старались уничтожить большевики. Весь творческій лик Шмелева, только что начавшій ко времени революціи принимать опредѣленные очертанія, рѣзко и значительно измѣнил свой характер. К сожалѣнію, критика не проявила достаточнаго — и необходимаго — вниманія к творчеству этого замѣчательнаго писателя и за формой не увидѣла скрываемаго ею содержанія, за внѣшним и временным проглядѣла существенное и вѣчное. Шмелев был объявлен политическим реакціонером, погубившим, якобы, в нем художника.

Совѣтская критика просто обходит Шмелева. Она отрицает за ним всякій талант и даже просто умѣніе, а облыжно приписывает ему политическую ослѣпленность, окончательно убившую в нем художника, к тому-же, вообще, по ее мнѣнію, малоодареннаго и незначительнаго. По существу, недалеко отошла от совѣтской критики и эмигрантская кри-

тика. Положив в основу своих сужденій и оцѣнок преимущественно политическіе идеи и гражданско-соціальныя проблемы, эмигрантская критика раздѣлилась, в основном, на два лагеря. Монархическо-консервативная критика неумѣренна в своих похвалах и ставит Шмелева чуть-ли не на первое мѣсто в русской литературѣ вообще, а не только в ее эмигрантской вѣтви. А «лѣво-прогрессивная» (термин, кстати сказать, в наши сумбурные времена потерявшій определенность и даже смысл) — критика, наоборот, не скупится на отрицательныя оцѣнки и всячески умаляет художественную цѣнность Шмелева, — почти полностью повторяя ошибку совѣтской критики, которую, однако, неизмѣнно и искренно укоряет за внесеніе ею политических критеріев в область художественных сужденій и оцѣнок.

Типичным и, может быть, даже крайним представителем второй группы эмигрантских критиков является Ив. Тхоржевскій, — монархист по убѣжденію, но в період второй міровой войны безнадежно запутавшійся в созданной ею, дѣйствительно, сложной обстановкѣ. Критик несомнѣнной проницательности, хорошаго вкуса и больших знаній, Тхоржевскій неожиданно обнаружил в отношеніи Шмелева крайнюю близорукость и в оцѣнкѣ этого писателя, художественно-эстетическія цѣнности почти всецѣло подчинил политическим проблемам. Поставив Шмелева в один ряд с П. Н. Красновым, писателем талантливым, но часто совершенно тенденціозным, Тхоржевскій утверждает, что Шмелев ушел «в политическую борьбу». А этим, отодвигая Шмелева за грани истиннаго искусства, Тхоржевскій превращает его, по существу, в **политическаго памфлетиста** (в беллетристической формѣ) **консервативно-реакціоннаго направленія,** — что в корнѣ невѣрно.

Легенду о политической реакціонности Шмелева убѣдительно — документально! — опровергает одно из его ранних, написанных еще до революціи, произведеній: роман «Человѣк из ресторана» (1911).

В этом романѣ Шмелев, оставаясь подлинным художником, ничѣм не нарушая законов эстетики, и ни на миг не переходя из литературы в публицистику, опредѣленно, ясно и смѣло затронул один из больших и больных вопросов общественно-соціальной жизни, унижающих и оскорбляющих личность и достоинство человѣка. Лишенный грубаго и рѣзкаго — по формѣ! — политическаго протеста, роман этот

весь насыщен искренней горечью, глубоким внутренним протестом и горячей любовью к пасынкам жизни, к невинным жертвам общественно-соціальных условій современной жизни. При всей ясности и остротѣ, охватывающей автора горечи, его любовь «к малым сим» истинно человѣчна. Это не снисхожденіе барина к ниже его стоящим на крутой соціальной лѣстницѣ, а любовь и сожалѣніе к несчастным и заброшенным людям-братьям. Эта авторская жалость свѣтла и жалѣемому несет не обиду, а радость и утѣшеніе. Да и сам герой этого романа, открывшаго чуткое и любвеобильное сердце Шмелева, живя тяжкой, унизительной и смрадной жизнью рестораннаго лакея, не ожесточился, не пристал к тѣм, кто звал к злобѣ, мести, крови и разрушенію а не примиряясь со своею жизнью и болѣя ею, однако, по христіански смирился и, обратясь мыслью к Богу, покорно и настойчиво ищет смысла жизни и правды ее. В этом романѣ еще робко, но ясно проявилась та религіозная устремленность Шмелева, которая так пышно разцвѣла впослѣдствіи.

Интересно, что «Человѣк из ресторана», сразу выдвинувшій Шмелева, имел не только крупный литературный успѣх. Он произвел сильное впечатлѣніе и в кругах трудящихся и обратил на себя сочувственное вниманіе тѣх, описанію тяжкой доли которых он был посвящен. Популярность Шмелева стала здѣсь столь велика и прочна, что уже при большевиках, в годы самаго страшнаго ожесточенія и безсердечія — в началѣ двадцатых годов, в Крыму, она дважды спасла Шмелева: один раз от голода, а другой раз от разстрѣла. Горячим признаніем цѣнности человѣческой личности и высоким чувством соціальной справедливости проникнута и написанная нѣсколько лѣт спустя, в разгар кроваваго вихря революціи, повѣсть «Неупиваемая чаша» (1919), о крѣпостном художникѣ. В ней же сказано, что дух человѣческій извѣчно свободен и неугасим.

Это твердое шмелевское **стояніе за правду** вообще, в частности-же, и за соціальную, так громко прозвучавшее в этих прекрасных произведеніях, сразу-же было замѣчено и оцѣнено. Теперь же это забыто или старательно замалчивается. Однако, этого никак не смѣют забывать тѣ, кто еще и нынѣ обличает Шмелева в политической реакціонности. Шмелевская дѣйственная преданность интересам обиженных и обездоленных не выше ли и не цѣннѣе ли часто

лишь словесной преданности многих **формам** государственнаго устройства. А не замѣчая этого, мы не только наносим Шмелеву незаслуженную обиду, но и существенно искажаем его творческій лик.

Политическія убѣжденія писателя и критика не должны имѣть никакого значенія при оцѣнкѣ **художественнаго** творчества **свободнаго** писателя свободным критиком, — свободных от государственнаго или партійнаго гнета, — а Шмелев и был духовно свободным писателем. Вообще же он был типичным русским прогрессивно-либеральным интеллигентом, горячо любящим и свою родину, и свой народ. Обвиненіе его в политической реакціонности совершенно необосновано и вызвано близорукостью или предвзятостью. Поводом-же для таких обвиненій служили, прежде всего: 1. **ненависть Шмелева к большевизму** и 2. **преклоненіе его перед исторической Россіей.** А основы этой ненависти и этого преклоненія были гораздо болѣе глубокими и свѣтлыми, чѣм многим это казалось... Шмелев ненавидѣл большевизм за уничтоженіе им исторической, народно національной Россіи и за угашеніе духа, за уничтоженіе человѣка, и, быть может, раньше и больше **за униженіе**, чѣм **за уничтоженіе** человѣка. Чуткій вообще к страданію и несчастію человѣческому, Шмелев особенно болѣзненно переживал тѣ безмѣрные муки и безысходное горе, в пучину которых большевики с холодной и безжалостной разсчетливостью бросили и самое Россію и весь русскій народ, — живой и неотдѣлимой частью которых Шмелев всегда себя чувствовал. Оттого-то так **палящ и горяч** гнѣв Шмелева по отношенію к большевикам.

За сюжетами Шмелева многіе не видѣли его **темы,** не чувствовали воодушевлявших его **идей** и влекших его **цѣлей.** Ужас удара, нанесеннаго большевиками Россіи, Шмелев видѣл отнюдь не в самой перемѣнѣ формы государственнаго устройства. Шмелевская неутолимая тоска о безвозвратно ушедшем прошлом была исключительно духовно-моральной природы, а никак не политической, как многіе предполагали. Шмелев тосковал и скорбѣл не о свергнутом политическо-государственном строѣ, а об уничтоженном большевиками **укладѣ жизни,** основанном на религіи, морали и національном чувствѣ. А только на этих устоях Шмелев и считал возможным построеніе и личной, и общественной, и соціальной, и политической, и государственной жиз-

ни. Для Шмелева **быт и бытіе** неразрывно между собою связаны, будучи лишь двумя сторонами одного и того-же явленія.

Нѣкоторые критики полагают, что Шмелев изображает не подлинную Россію, а им выдуманную или, во всяком случае, им принаряженную и пріукрашенную, с примѣсью даже нѣкоторой сусальности. Извѣснаго сгущенія красок при изображеніи Шмелевым былой Россіи нельзя отрицать, однако, в основѣ его описаній лежит подлинная, истинная Россія, не только нѣкогда существовавшая, но существующая и нынѣ, — если говорить не о бытѣ, не о внѣшней обстановкѣ существованія современнаго русскаго человѣка, томящагося под совѣтским игом, а о том, что составляет глубинную сущность народа, — о его душѣ. А суть русской народной души Шмелев видит в **религіозности, в непоколебимой духовно-душевной устойчивости, в преданности** унаслѣдованым от предков **вѣрованіям, взглядам и обычаям,** являющимся стержнем народной жизни. Подавленные, усталые, мы этого вѣчнаго и неистребимаго иногда уже и не замѣчаем. Но об этом взволнованно свидѣтельствуют иностранцы, внимательно наблюдающіе русскую жизнь и желающіе в ней разобраться. Об этом же со страхом и возмущеніем говорят — косвенно! — и сами большевики, тщетно пытающіеся сломить **народные устои,** сущность которых составляет религія. В своих изображеніях дореволюціонной Россіи Шмелев и дѣлает главный упор на религіозность народа, изображая, однако, и духовную ея суть, и красочное житейское проявленіе. Религія же именно и чужда современному человѣку и подчеркнутая преданность Шмелева религіи не только отдаляет от него многих наших, особенно молодых, современников, но и налагает на Шмелева печать нѣкоей политической реакціонности, консервативности, точнѣе: печать преданности Шмелева тому, что многим сейчас кажется чуждым и даже безвозвратно ушедшим.

Именно преимущественно поэтому вокруг имени Шмелева неумолчно кипят споры, а оцѣнки его цѣнности и значенія — рѣзко противоположны и противорѣчивы.

Художественный талант Шмелева безспорен, как безспорно и его огромное литературное мастерство. Художественный діапазон Шмелева велик. Он, прежде всего, — во всяком случаѣ, по времени! — **бытовик-жанрист** большого охвата и покоряющей силы. Знаніе жизни и человѣка, любовь

к ним и умѣнье их изображать дѣлают из него высокаго мастера бытовой живописи. По манерѣ и по сюжетам Шмелев очень близок к Островскому, — нашему лучшему и чистѣйшему бытовику. Жизнелюбіем и жизнеобиліем Шмелев — особенно ранняго періода — очень напоминает старых фламандских живописцев. Затѣм, творчество Шмелева постепенно расширяется и углубяется. Извѣстная чувствительность, иногда переходившая и в сентиментальность, нервная чуткость замѣчались уже в первых, дореволюціонных произведеніях Шмелева, частично даже в «Валаамѣ». Послѣ-же революціи — октябрьско-большевистской — эти черты заострились. Чисто бытовой подход к жизни углубился **религіозным чувством** (Неупиваемая чаша, Лѣто Господне, Богомолье), а нервный подъем приобрѣл черты **пламеннаго обличительнаго пафоса,** с оттѣнком тона и настроенія наших **плакальщиц** (Солнце мертвых, Про одну старуху), показавших наличіе и **народных корней** в шмелевском творчествѣ. А вслѣд за этим писательская манера Шмелева стала пріобрѣтать литературно-синтетическій характер, гдѣ прежнія основныя черты, потеряв значительную часть своей остроты, слились в одну новую, исполненную **умиротворенно-возвышенной сентиментальности,** осложненной **религіозно окрашенным мистицизмом** (Пути небесные). Но мистицизм Шмелева не поглотил его реализма; они мирно сосуществуют. Шмелев и **психолог,** тонко проникающій в тайники души, понимающій и умѣло изображающій мысли, чувства и переживанія не только человѣка, но и животнаго. «Мэри» Шмелева может быть поставлена рядом с толстовским «Холстомѣром» и купринским »Изумрудом», а внутренній мір собаки Мэри показан им с неменьшей силой и убѣдительностью, чѣм бунинскіе «Сни Чанга».

В творчествѣ Шмелева нѣт пушкинской «величавости», но в каждой строкѣ чувствуется большой и своеобразный **художник-мастер** яркаго таланта и чистаго сердца. С поражающей силой Шмелев дает воистину художественно преображенную правду жизни, магически вызывая из небытія уже почти несуществующее. — Бальмот и Вас. Немирович Данченко, сами любившіе и знавшіе Россію, умирая в изгнаніи, в послѣдніе свои предсмертные дни просили читать им шмелевское «Богомолье», чтобы, навсегда покидая земную жизнь, еще раз «побывать» в Россіи, так чудесно воскрешенной здѣсь Шмелевым. Не является ли это

убѣдительным доказательством художественно-изобразительной мощи Шмелева?

При оцѣнкѣ творчества Шмелева нужно особенно четко и рѣшительно отрѣшить в нем поэта от гражданина, никак не сливая эти два противоположно-враждебныя понятія в одно цѣлое, — смутное и превратное. Шмелевское творчество нужно тщательно и бережно **реставрировать** и тогда под случайными, временными, «чужими» красками обнаружится истинная художественная сердцевина Шмелева и с полной несомнѣнностью выяснится его настоящая цѣнность. А этим будет возстановлена опрометчиво-попранная правда и русская литература примет Шмелева — этого еще сейчас не всѣми понятаго и потому не всѣми принятаго писателя, — радостно и достойно.

СОДЕРЖАНІЕ